

Академия наук СССР  
Институт русского языка

# Русская речь

1 ЯНВАРЬ  
ФЕВРАЛЬ  
1990

Научно – популярный журнал

Издаётся с января 1967 г.  
Выходит 6 раз в год

МОСКВА "НАУКА"

В ПОМЕРЕ: К 100-летию со дня рождения Бориса Пастернака

- 3 *Е. В. Пастернак. «Вторжение воли в судьбу...»*  
(Письма Б. Л. Пастернака в связи с «Доктором Живаго») ©
- 17 *М. Л. Гаспаров. Рифма и жанр в стихах Бориса Пастернака* ©
- 23 *В. Г. Смолницкий. Б. Пастернак – собиратель народных речений* ©  
*Слово писателю*
- 29 *Даниил Данин. Это пребудет с нами* ©

---

## НАШИ ПУБЛИКАЦИИ

- 49 *Мих. Осоргин. Статьи*

---

## АНТОЛОГИЯ АВТОРСКОЙ ПЕСНИ

- 62 *Александр Галич*

---

## ТОЧКА ЗРЕНИЯ

- 70 *В. П. Григорьев. Культура языка и языковая политика* ©

---

## КУЛЬТУРА РЕЧИ

- 77 *Ф. Л. Агеев. По страницам Словаря ударений* ©  
*Школа красноречия*
- 82 *В. И. Аннушкин. «Хорошее слово – половина счастья»* ©

---

## ИЗ ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ

- 88 *С. А. Копорский. О культуре языка и речи молодежи (20-е годы)*

## ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ЯЗЫКОВЕДЫ

- 98 *В. П. Вомперский*. Виктор Иванович Борковский ©  
 101 *А. С. Крюкова*. Н. М. Малеча — ученый-лексикограф и педагог ©

## ИЗ ИСТОРИИ КУЛЬТУРЫ И ПИСЬМЕННОСТИ

- 104 *О. Н. Трубачев*. В поисках единства ©

## ПОЭТ И ФОЛЬКЛОР

- 116 *А. А. Поликанов*. Народность поэтики М. В. Исаковского ©

## ИЗ ИСТОРИИ СЛОВ И ВЫРАЖЕНИЙ

- 121 *И. К. Марковский*. Мастер ©  
 125 *Н. Г. Чаусова*. Об истории омонимов: мандарин ©  
 128 *И. Г. Добродомов*. Кто такая кузькина мать? ©  
*За знакомой строкой*  
 133 *В. Я. Звиняцкий*. «Пасичник Рудый Панько» ©

## ПОСТУПАЮЩЕМУ В ВУЗ

- 140 *И. И. Степанченко*. Не — приставка или частица? ©

## СРЕДИ КНИГ

- 145 *Л. В. Разманин*. Стилистика деловой речи и редактирование служебных документов  
 147 Звучащее слово Древней Руси  
 149 *В. А. Никонов*. Ищем имя

## ПОЧТА «РУССКОЙ РЕЧИ»

- 154 *В. Н. Сергеев*. Ответы на письма читателей ©

- 158 Игротека

Обложка выполнена художником *М. Мордвинцевой* ©

## «Вторжение воли в судьбу...»

*Письма В. Л. Пастернака  
в связи с «Доктором Живаго»*



ольшое количество материалов, попавших на страницы журналов в 1987–1989 гг., решительно противоречит сложившемуся ранее представлению о Борисе Пастернаке. Эти материалы должны положить начало серьезному изучению его творчества и того, как оно складывалось из его судьбы и опыта. Главным событием стало широкое знакомство с романом «Доктор Живаго», что совершенно меняет привычное понимание жизни Пастернака и значения для него этого произведения. Первые отклики критики на «Живаго» сразу показали огромный диапазон оценок и сложность его прочтения, несмотря на видимую простоту и традиционность авторской манеры.

Предлагаемая подборка писем объединена темой критики романа и отношения к нему автора. Причем письма 1947–1948 гг. говорят о настроении автора в мрачное время работы над первыми главами. А написанные в 1955 году — о счастливом периоде окончания работы, о сознании выполненного долга, которое не могло омрачить даже неодобрение друзей. Письма 1959 года посвящены самостоятельной судьбе произведения после его издания, первым критическим чтениям за границей.

Письма к профессору Б. С. Кузину, биологу по специальности, с которым в 30-х годах дружил О. Э. Мандельштам, автору прекрасных воспоминаний об этой дружбе, отражают напряженное время возобновившихся после войны политических репрессий на фоне проработочных критических кампаний в печати. Жестокая статья А. А. Суркова «Поэзия Пастернака» в «Культуре и жизни» (21 марта 1947) послужила началом ругательных отзывов во всех газетах, разоблачений критиков, осмелившихся некогда писать о Пастернаке с симпатией, и уничтожения тиража опечатанного «Избранного» 1948 года.

Продолжавшаяся работа над романом помогала Пастернаку мужественно переносить эти нападки. Он создавал тот страшный риск, с которым был сопряжен свободный и правдивый рассказ

о времени и судьбе своего поколения, им руководило мучительное ощущение невозможности по-прежнему оставаться известным поэтом, признанным переводчиком и скрывать свое истинное отношение к происходящему под покровом «непонятности» и «далекости от жизни».

О времени принятия решения и начала серьезной работы над романом Пастернак писал Вяч. Вс. Иванову 1 июля 1958 года:

«Я давно и долго, еще во время войны томился благополучно продолжающимися положениями стихотворчества, литературной деятельности и имени, как непрерывным накапливанием промахов и оплошностей, которым хотелось положить разительный и ощущаемый, целиком перекрывающий конец, которые требовали расплат и удовлетворения, чего-то сразу сокрушающего привычные для тебя мерила, как например, самоубийства в жизни других или политические судебные приговоры, — тут не обязательно было, чтобы это была трагедия или катастрофа, но было обязательно, чтобы это круто и крупно отменяло все нажитые навыки и начинало собою новое, леденяще и бесповоротно, чтобы это было вторжение воли в судьбу, вмешательство души в то, что как будто обходилось без нее и ее не касалось».

Роман «Доктор Живаго» стал для Пастернака именно таким поступком, переменившим весь его привычный образ жизни и его отношение к своему прошлому.

В. С. Кузин послал Пастернаку на отзыв свои стихи. Удивительная и не свойственная мягкому характеру отповедь звучит в ответе Пастернака. Он дважды берется за него и вкладывает в конверт оба наброска, что говорит о том, как трудно ему было писать. Здесь звучит решимость человека, совершенно переменившего свое отношение к жизни и литературе, гнев и досада на самого себя, не сумевшего до сих пор написать ничего, что соответствовало бы серьезному и страшному времени, в которое он вынужден был жить. Для смягчения жесткости тона и в свое оправдание он посылает Кузину тетрадку со стихами к роману, признанными теперь вершиной пастернаковской поэзии.

Авторские чтения романа дома и в кругу друзей, отзывы на широко рассылавшиеся перепечатки первой книги показали Пастернаку весь спектр восприятий и мнений. Его очень огорчало несогласие друзей, профессиональных литераторов, с его новой манерой, приобретенной в процессе долгой внутренней работы, освободившей слог от яркой метафоричности его молодости, прихотливого импрессионизма изображения. В письмах писателю, литературному критику Н. П. Смирнову названы претензии пер-

вых читателей под видом авторской самооценки — это предвосхищение чужого неприятия и желание избавить адресата от проторенного пути профессиональной критики, хорошо известного автору и ставшего ему привычным. Ответное письмо Н. П. Смирнова содержит высокую оценку романа и глубокое понимание причин и оснований, заставивших Пастернака пойти на этот эксперимент. Старый сотрудник журнала «Новый мир» времен В. П. Полонского, переживший ад сталинских лагерей, был захвачен духовным миром романа и его героев, сумел увидеть в этом произведении новое слово современной прозы.

Письмо к английскому поэту, издателю журнала «Энкаунтер» — ответ Пастернака на первые критические обзоры, появившиеся за границей после издания «Доктора Живаго». Отказываясь прямо вступать в полемику с известным критиком Эдмундом Уилсоном, Пастернак все же корректирует подход к «Доктору Живаго» как классическому роману, объясняя особенности его художественной ткани, лишенной доктрины причинности, которая определяла реализм XIX века.

О недостаточной душевной подготовленности к новой прозе «Доктора Живаго» пишет Пастернак редактору итальянской газеты «Висто» в связи со статьей Дж. Линдси в «Англо-Совет джорнал».

Отношение автора к своему роману и значение этой работы в его жизни — не единственное содержание публикации. Это неотъемлемая часть общей творческой эстетики Пастернака, его мыслей о роли искусства в современном обществе и истории, мыслей, определяющих его место в русской литературе, требующих особого понимания и пристального изучения в наше время, которое склонно к мифотворчеству и легко принимает ложное общераспространенное мнение за сущность.

(В публикации сохранены особенности пунктуации и орфографии Б. Пастернака. Переводы письма Спендеру с английского и анкеты «Висто» с итальянского языков сделаны Е. Б. Пастернаком.)

*Б. С. Кузину*

⟨лето 1947 г. Переделкино⟩

Глубокоуважаемый Борис Сергеевич!

Я о Вас много слышал раньше. Все в Вас меня привлекает. Моя невестка (Ирина Николаевна Вильям — Е. П.) передала мне Ваши стихи. Мне хотелось бы сказать Вам только то заслуженно

приятное, на что они наводят. Но до того, как я обращаюсь к некоторым из них в отдельности, я должен наговорить резкостей и неприятностей... даже не Вам, а по другому, между прочим и моему собственному адресу.

Вы мне лишний, В сотый или тысячный раз напомнили то, что я знаю без напоминаний, что ничего этого не было, ни Мандельштама, ни Анненского, ни меня, что все еще пока тяжел, досажден и *еще не искуплен* этот мир представлений в промежутке между символизмом и акмеизмом, этот еще не тот неведомый, который придет следующим по порядку и этот уже не Блок.

Только Вы не думайте, что на моих словах сказываются результаты нынешних проработок, рассуждения об актуальности и так далее. Ах нет, эти нападки еще более невинный и детский вздор, чем самые объекты нападений. Сметено будет и то и другое, положение и отрицание. Я ли именно зачеркну это? Нет, не надо было зевать двадцать лет,—для этого я слишком стар. Но я, может быть, по крайней мере научу, как это сделать.

Простите. Вы видите, как все это второпях и небрежно, как с моей стороны безбоязненно (писатели остерегаются переписываться так неряшливо). Но именно так мне и хочется написать Вам, п<отому> ч<то> по-другому не выйдет.

⟨7 марта 1948. Москва⟩

Дорогой Борис Сергеевич!

Простите, что я до сих пор ничего не сказал и не написал Вам о Ваших стихах. Я очень нетерпимо отношусь к собственному прошлому и, более широко, к тому миру вообще, часть которого это прошлое составляет, и поэтому *не могу быть справедливым* к Вашим стихам отчасти именно вследствие их достоинств. Той струны,—скажем, что ли так,—которой Вы в них касаетесь, я совершенно не выношу в себе и поэтому совсем не гоюсь Вам в судьи.

А чтобы Вы не сделали превратных выводов из сказанного, чтобы не подумали, что я Вас зову к чему-либо такому, что называет жизнью и действительностью современная газета, вот Вам стихи из самой важной и новой моей работы, из моего большого романа в прозе, который я пишу с прошлой зимы урывками, когда бывает время.

Вы должны знать, что стихов *как самоцели* я не любил и не признавал никогда. Положение, которое утверждало бы их цен-

ность так органически чуждо мне и я так этот взгляд отрицаю, что я даже Шекспиру и Пушкину не простил бы голого стихотворчества, если бы, кроме этого, они не были гениальными людьми, прозаиками, лицами огромных биографий и прочее и прочее).

Тогда и только при этом положении, то есть только при безмерности этого, ближе неопределимого, безусловного мира становится простительной и получает смысл условная музыкальная речь в рифму, как только в приложении к телеграфу, несущему жизнь и смерть в обиходе, получают оправдание палочки и точки лаконического телеграфного языка и его азбуки.

Во всех же прочих случаях я не понимаю увлечения этой бессмыслицей и в этом отношении радикальнее Маяковского, кот(орый) в этом пункте покладистый эстет в сравнении со мной.

Мне очень трудно писать Вам, т(ак) к(ак) Вам надо отвечать очень принципиально и это заводит в невозможные дебри.

Доставая Ваши стихи, я обнаружил, что уже летом начинал писать Вам и наверное не довел письма до конца вследствие его досадной и раздражающей неудачности. Все равно, прилагаю его. Желаю Вам счастья,

Ваш Б. П.

Н. П. Смирнову

2 апр(еля) 1955. <Переделкино>.

Дорогой Николай Павлович!

(Я не забыл Вашего отчества, не путаю его? Если перевираю, то простите). Мне страшно дорога была Ваша записка, благодарю Вас за память и сердечное тепло.

Я очень хочу, чтобы Вы прочли роман и стихи, и, что касается последних, — перепишите их или дайте переписать, если у Вас явится потребность.

Три тетради прозы, имеющиеся у милой Валерии Дмитриевны (жены писателя М. М. Пришвина — Е. П.) составляют первую книгу романа. У меня в работе вторая, законченная и содержащая окончание романа. Я ее переписываю набело от руки с почти сплошными изменениями, которые всегда претерпевают рукописи в авторской переписке. Эта вторая книга наверное в отношении слога бледнее и менее отделана (и такую и останется), но полнее в сюжетном смысле, мрачнее, трагичнее.

Вот я зачем так подробно говорю Вам об этом. Вам эта проза не сможет понравиться. Я начал ее писать в те послевоенные годы, когда задолго до осложнений с Зощенкой и Ахматовой по собственному какому-то отчуждению, я оказался не у дел и меня стало отмывать куда-то в сторону все больше и больше. Я лишился художественной собранности, внутренне опустился, как ослабнувшая тетива или струна,— я писал эту прозу *непрофессионально*, без сознательно выдерживаемого творческого прицела, в плохом смысле по-домашнему,— с какой-то серостью и наивностью, которую разрешал себе и прощал. Она очень неровная, расплывшаяся, она мало кому нравится, в ней чудовищное множество лишних без надобности введенных лиц (часть их, правда, во второй книге возвращается), потом в ходе изложения исчезающих.

Но я по-другому не мог. Еще хуже было бы, если бы в условиях естественно сложившейся отрешенности от литературы, без каких-либо видов на то, чтобы когда-нибудь вернуться в нее, и занимаясь одними переводами, я продолжал по-прежнему, с верностью приему, со страстью мастерства «служить музам», писать как для печати, и прочая.

Это было бы какой-то позой, притворством перед собой, чем-то нереальным и фальшивым. Я не люблю (или я их превратно понимаю) двух слов, и двух, соответствующих им, понятий,— «мудрости» и «романтики». Мне кажется, это то, без чего можно обойтись, то, чего нет или не бывает в жизни, две формы совсем не требующейся вольности или неоправдываемого попустительства\*. Так вот одинаковое писание что для печати, что не для печати было бы мне не свойственной романтикой.

Дорогой Николай Павлович, скажите мне что-нибудь по этому поводу по прочтении тетрадей! Вы такой тонкий, такой близкий по всему Вашему миру человек и такой знаток всей этой музыки, такой судья в ней!

Но я не только по отношению к этой прозе чувствую себя так неудобно и целовко. Гослитиздат предлагает мне собрать 15 листов избранных стихотворений, и им утвердили это предположение. Хотя я не отказывался, по всеми правдами и неправдами стараюсь оттянуть, насколько возможно переиздание, до такой степени весь я не в тоне современности, до того сам я сознаю и чувствую себя среди остальных белой вороной. И я совсем не говорю, что они плохи, что советская нынешняя литера-

---

\* А «мудрость» это вид ложной глубины, а часто даже и тушования, которому не успели подыскать разгадки (прим. автора).

тура бледна, наоборот, наверное она очень хороша — говорю это совершенно искренне, наверное так именно и надо, таков дух времени.

Но я не могу последовать за нею: при всей моей прирожденной и бывшей демократичности и революционности в жизни, нормах поведения и поступках, совсем другие силы управляют мною, когда я прихожу к искусству. В плане общественном это одиночество факт роковой и неотменимый, это предосудительно и прискорбно.

Но внутренне, для самого себя мне не на что жаловаться. По наполнению, по ясности, по поглощенности любимой работой жизнь последних лет почти сплошной праздник души для меня. Я более чем доволен ею, я ею счастлив, и роман есть выход и выражение этого счастья.

Наверное все это — самооправдания, которые не спасут его в Ваших глазах,

*Ваш Б. Пастернак.*

28 апр(еля) 1955.

Дорогой Николай Павлович!

Валерия Дмитриевна недели две назад сказала мне, что передала Вам рукопись. Это не напоминание о ее возвращении. Держите ее сколько хотите. Но если у Вас будет что-нибудь сказать мне и Вы пожелаете написать мне несколько строк, сделайте это обычным способом на городской адрес по почте.

Я боюсь, что если Вы вложите записку в возвращаемую рукопись, или с недостаточно определенным внушением попросите домашних передать мне что-нибудь, Ваш листок долго залежится где-нибудь без моего ведома или затеряется. Между тем к виду писем доставляемых по почте из рук в руки привыкли.

Получили ли Вы мое письмо? Какого бы низкого мнения я ни был о второй книге Живаго, я ее дописываю, и довести ее до конца мой долг перед собою.

Но все более преследующее меня стремление писать скромно, без эффектов и стилистического кокетства завело меня наверное слишком далеко, в область добродетелей, противоположных искусству, и оставив нервное, отмеченное энергией письмо, обязательное для художника, я усвоил рыхлую, водянистую обстоятельность, которая губит мои лучшие намерения.

И отовсюду слышишь: зачем вы пишете прозу? Ваше ли это дело?

Сердечный привет.

*Ваш Б. Пастернак*

Москва В-17, Лаврушинский пер., д. 17/19, кв. 72.

Я в письме прошу Вас написать мне после чтения прозы: по только несколько слов, самое главное, что вырвется безотчетно само собой, хорошее или плохое. Не тратьте времени, не создавайте себе из этого муки, сохрани Боже,— я знаю проклятие длинных писем и «подробных» разборов!

8 мая 1955

Дорогой Николай Павлович!

Сердечно благодарю Вас за щедрое, отзывчивое, содержательное письмо.

Множество Ваших замечаний очень дороги мне. Но такова человеческая неблагодарность. Вместо того, чтобы в награду за потраченные труд, время и внимание освободить Вас от своей особы и дать надолго отдых, я запискою прошу Валерию Дмитриевну передать Вам нашедшуюся третью тетрадь с просьбой непременно прочесть ее, пока Вы не забыли содержания предшествующих. И ненасытимость эта будет возрастать: через месяца два-три, если Бог даст буду жив, навяжу Вам окончание.

Нешутя, от всего сердца горячо благодарю Вас. Всего Вам лучшего.

*Ваш Б. Пастернак*

*Стивену Спендеру*

22 августа 1959

Как я уже говорил прошлый раз, для меня большое удовольствие и честь писать Вам. Но я вполне сознаю, каким тяжким бременем для человека, которому Вы это поручите, будет извлечь смысл из тарабарщины моего письма и на правильном английском дать ему нужный ход.

Что касается Эдмунда Уилсона, то я должен только выразить ему благодарность и признательность. Каждый критик вправе толковать свое впечатление от произведения искусства так, как ему хочется или как он привык. Меня просят написать короткие предисловия, введения, вступительные заметки к изданиям, сбор-

никам произведений Блока (для Италии), Толстого и Лермонтова (для Америки), Чехова (для Индии). Я не исследователь, не ученый. Я очень мало в жизни читал, а то, что прочел, большей частью забыл. Я всем напишу короткие письма на нужные им темы, в каждом случае передавая лишь свое общее понимание предмета, примерно так, как это делает Уилсон по отношению ко мне.

Если, например, я скажу, что своеобразие Чехова как драматического писателя, основное значение и достоинство его пьес в том, что он вписал человека в пейзаж на равных правах с деревьями и облаками, что как драматург он был против подчеркивания социальных и гуманистических оценок, что его диалоги не подчинены логике интересов, страстей, характеров или фабулы, но реплики и речи взяты, выхвачены из пространства, из воздуха, в котором произнесены и, подобно пятнам и контурам лесов и лугов, передают подлинное, мгновенное сходство с основным содержанием пьесы, с жизнью в самом ширком смысле слова, этой единственной в своем роде, огромной, обитаемой формой, с ее симметриями, — с жизнью как скрытым, непостижимым принципом и основой всего.

Если бы Чехов был жив и прочел все это, разве бы он с этим согласился? Почему же вольности, которые позволяет себе Уилсон, должны быть меньше, чем мои?

На самом деле я не придаю такого значения подробностям и случайным обстоятельствам. Вернее, их сравнительное безразличие входит в мои памерения, составляя одну из особенностей моего стиля, подлинный язык моих мыслей.

Если взять великий роман прошлого столетия в его сущности, которую превозносят, к примеру, Генри Джеймс, если разобрать величайших Достоевского, Толстого, Диккенса, Флобера, — если из ткани такого романа, скажем «Мадам Бовари», постепенно вычесть одно за другим действующие лица, их развитие, ситуации, события, фабулу, тему, содержание... После такого вычитания от второсортной развлекательной литературы ничего не останется. Но в названном произведении (или, например, в «Девиде Копперфильде») останется самое главное: характеристика реальности как таковой почти как философской категории, как звена и составной части духовного мира, которые вечно сопутствуют жизни и окружают ее.

Для этой характеристики реальности бытия, как субстрата, как общего фона, XIX век пользовался неоспоримой доктриной причинности, убеждением, что объективная реальность определяется и управляется железной цепью причин и следствий, что все

явления нравственного и материального мира подчинены закону последствий и возмездия. И чем строже и непреклонней был автор в изображении такой последовательности (характеров и поведения) — тем большим реалистом он считался. Трагическое очаровывающее обаяние флэберовского стиля или манеры Мопассана коренится в том, что их повествование непоправимо, как приговор, и как решение суда не подлежит отмене.

В свои ранние годы я был поражен наблюдением, что существование само по себе более самобытно, необыкновенно и необъяснимо, чем какие-нибудь удивительные случаи или факты. Меня привлекала необычность обычного. Сочиняя музыку, прозу или стихи, я следовал некоторым представлениям и мотивам, развивал определенные сюжеты и темы. Но высшим удовольствием было добиться чувства реальности, уловить ее вкус, передать саму атмосферу бытия, ту окружающую среду, охватывающую форму, куда погружены и где не тонут отдельные описанные предметы.

Но — странным образом, — раздумывая об отличительных особенностях восприятия жизни, иными словами, — осознанного существования, пытаясь выразить те же ощущения средствами искусства, я прихожу к выводам, если не прямо противоположным тенденциям выше названных шедевров, то по крайней мере к наблюдениям, не сходным со взглядами наших предшественников и учителей.

Если бы мне надо было нарисовать широкую картину живой действительности, я не надеялся бы подняться до высот объективности, подчеркивая статику судьбы *ἀνάγκη*, непреложность естественных законов, правильность нравственных установлений.

Чтобы достичь правдивого сходства подражательных приемов искусства и живого опыта реально пережитого, недостаточно передать свое представление в живом мгновенном движении. Я бы представил себе (выражаясь метафорически), что видел природу и вселенную не как картину на недвижной стене, но как красочный полотняный тент или занавес в воздухе на каком-то невещественном, неведомом и непознаваемом ветру.

То ли недостаточное и обрывочное знание различных физических волн как внешней движущей силы наших субъективных ощущений или оставшийся привкус легенды о сотворении мира, или представление о жизни как об узком промежутке между рождением и смертью, но всегда я воспринимал целое — реальность как таковую — как внезапное, дошедшее до меня послание, неожиданное происшествие, желанное прибытие и всегда старал-

ся воспроизвести эту черту чего-то посланного и нацеленного, которую, как мне казалось, находил в природе явлений.

Это единственное, что я мог бы не противопоставить, — по прибавить к аллегорически направленной подробной критике: то есть, что сверх и за всеми указанными и выделенными пустяками (даже в их обостренном волшебстве) и помимо значительности описанных человеческих судеб и исторических событий, в романе имеется попытка представить весь ход событий, фактов и происшествий как движущееся целое, как развивающееся, проходящее, проносящееся, прокатывающееся вдохновение, как если бы действительность сама имела свободу и выбор и сочиняла саму себя, отбирая из бесчисленных вариантов и версий.

Отсюда — недостаточная обрисовка действующих лиц, которую мне ставят в упрек (скорее, чем очерчивать их, я старался их затушевывать), отсюда откровенность произвольных совпадений (этим я хотел показать свободу бытия, правдоподобность, которая соприкасается и граничит с невероятным).

Чересчур дерзко и глупо посылать Вам эту неправленную неразбериху, не перечитывая и не проверяя. Только спешка, в которой я пишу, может служить этому оправданием.

*Ваш Б. Пастернак*

#### Ответы на вопросы газеты «Висто»

*1. Оторванность науки от нравственности — одна из причин духовного кризиса в мире. Может ли поэзия, по вашему мнению, выжить в этом мире и черпать в нем вдохновение?*

Позвольте мне разделить Ваш вопрос на два. По поводу отрыва науки от нравственности я Вам расскажу такой случай. Однажды летним утром 1916 года мы вместе с инженером осматривали угольные рудники на Урале. Мы спустились вниз в то время, когда работа была в самом разгаре. Наш осмотр рудника занял полдня. Возвращались верхом по дороге, которая бесконечно вилась через леса и долины, окутанные вечерними тенями, и я думал о том, что если бы наука (и соответственно ее теория и техника) руководствовались побуждениями добра и сострадания, то есть чистыми нравственными мотивами, и пропитанная теплом и любовью человеческая мысль была бы не в состоянии вырабатывать антигуманные идеи, — человек давно нашел бы способ использования угольных ресурсов без насильственного принуждения, которому подвергались тогда (в 1916 году) китайские

рабочие и каторжники. Но я должен подчеркнуть, что я совершенно не разбираюсь в науке.

По поводу второй части Вашего вопроса, то есть, может ли поэзия черпать вдохновение и прежде всего выжить в этом мире, руководимом наукой, — мне показалась интересной книга «Смерть при жизни. Мысли в стихах», — которую мне прислал ее автор Петер Зупф, немецкий поэт и летчик. Я не знал этой книги и должен признаться, что впервые в жизни столкнулся с темами новых измерений, апокалиптической, атомной и так далее, преобразенными в поэзию не дидактическую или герметическую, а живую, открытую, мыслящую и понятную.

*2. Думаете ли вы, что сейчас все еще имеет значение старое определение: «Искусство есть высшая сущность действительности и если оно хочет быть живым, оно должно возникать из живого мира»?*

Искусство, художественное творчество (реализм) — это одержимость действительностью, это душевное страдание тех, кто должен преобразовывать внешние формы. Быть художником, по-моему значит быть одержимым идеей жизни и накопления опыта. Настоящее искусство то, которое преобразует в сказку простые явления повседневности. Искусство, лишенное присутствия Святого Духа, гения или философского содержания, то есть стихийных, вечных и обязательных его даров — для меня не существует.

А что касается прошлого, то, что мы помним и храним из его погребенной старины? Что прежде всего мы ищем в своих раскопках? Что связывает нас с прошлым и будущим, с непрерывным ходом истории? Это не культура, как понятие рассудочное, — это искусство, которое и есть сама жизнь, охватенная творческим порывом, мгновение, преображенное в вечность.

*3. Если бы кто-то из глав разделенного мира передал бы в ваши руки власть, то, что бы вы сделали, чтобы восстановить ясность сознания, нравственное равновесие, личную и социальную справедливость, чтобы продлить мир, иными словами, преодолеть страшный духовный кризис современного человека?*

Я бы устранил посредственность, нравственное скудоумие и мещанский оптимизм, эти три главные опасности нашего времени. Посредственность — это оставшееся нам наследство прошлого в настоящем; духовное бесплодие останется врагом всякой свежей

мысли; мещанский оптимизм вводит человека в обман, более глубокий, чем фантазия. Хотел бы я забыть эти три явления, но недавний пережитый опыт вновь напомнил мне о них.

Как-то мне попался на глаза *Anglo-soviet Journal* с критикой моего «Доктора Живаго», написанной неким Джеком Линдси. Судя по важному, поучительному тону, это, вероятно, известный авторитетный критик (я не сомневаюсь, что это так). Я должен извиниться за свое незнание, пусть он простит меня, но я никогда не слышал о нем. Он начинает свою статью таким признанием: «Я был расположен к «Доктору Живаго» до того, как начал его читать и приготовился восхищаться романом, о котором столько говорят». В этом месте, если бы я был господином Линдси, я бы продолжил так: «Но после того, как я понял характер журнала, для которого я пишу, доброе предрасположение к книге, которой я собирался насладиться, внезапно переменилось. Теперь «Доктор Живаго» разочаровал меня».

На самом деле господин Линдси не дал мне спуска: роман, по его мнению, лишен правдоподобия, логики, последовательности, в нем нет так же внутреннего содержания и поэтому герой опустошен и слаб. Для доказательства своих суждений он пускается в откровенно избитые размышления. Жаль только, что мой критик не понял одну довольно существенную вещь, что «Доктор Живаго» это попытка писать по-новому, языком, свободным от всех тех старых литературных и эстетических условностей, на которых так настаивает господин Линдси. Короче говоря, эта книга для подготовленных людей и, расценив ее как мое неудачное послание ему лично, Линдси, совершил досадную в профессиональном смысле ошибку.

#### 4. Необходимость одиночества.

Я убежден, что одиночество сближает нас с природой. Надо остаться наедине с нею, погрузиться в нее, чтобы понять ее внутренний смысл. Плоды одиночества, то есть наши мысли, наши поступки и труды, связывают нас с обществом, которое я бы назвал сердечной любовью одинокого гения, его возлюбленной и любовницей. И это относится ко всем людям, а не только к художникам.

5. Мы все считаем Пастернака великим голосом нашего времени. Как вы думаете, сто таких голосов могли бы исцелить человечество или нужно обратиться с открытым призывом ко всем людям мира, ответственным за его духовные ценности?

Нет, я не верю в действенность объединений, призывов, обращений. По-моему, спасение человеческих ценностей можно искать только в самой жизни, в любви к жизни, в стремлении к лучшей жизни, более ценной, более искренней, более достойной самой себя. Как было бы хорошо, к примеру, если бы наши дни были освещены улыбкою искусства! Нам было бы больнее при мысли о разлуке в день смерти и в то же время наше существование приобрело бы бóльшую ценность.

*Вступительная заметка и публикация  
Е. В. Пастернак*

---

# Рифма и жанр в стихах Бориса Пастернака

М. Л. Гаспаров,  
доктор филологических наук

В поэтическом творчестве Пастернака сменились две манеры: условно говоря, сложная и простая. «Нельзя не впасть к концу, как в ересь, в неслыханную простоту», — было сказано в 1931 году. Это не было индивидуальным явлением, здесь Пастернак шел в ногу со временем: подобная эволюция характерна почти для всех его сверстников и чуть более младших поэтов — разве что за такими большими исключениями, как Мандельштам, Ахматова и Цветаева. Маяковский не упрощал формы, зато он упрощал содержание, и к тому же он убил себя на самом решающем повороте. А поворотов на пути советской поэзии к простоте было два — около 1924 года и в начале 1930-х годов. Оба они отразились в стихе Пастернака.

В нашей заметке пойдет речь лишь об одном малом аспекте этой эволюции — об упрощении рифмы. Известно, что в 1910-х гг. русская поэзия разработала сложную и богатую систему неточных рифм, а в 1930-х гг. отказалась от нее, вернувшись к преобладанию точных. Тот же путь прошел и Пастернак: на смену книге стихов «Сестра моя — жизнь», где рифмовались «*homo sapiens* — за пояс» и «Гамлета ли — по ногам летали», пришло «Второе рождение» с рифмами «живу—наяву», «свет—предмет», «полн—волн». Но особенностью его пути было то, что работа над *рифмой* скрещивалась с работой над *жанром* и зависела от нее. Это, как кажется, и представляет наибольший интерес — как теоретический, так и исторический.

Для общего представления о ходе рассматриваемой эволюции придется перечислить ряд цифр: какой процент занимали *неточные рифмы* в общем составе женских и мужских рифм Пастернака. Среди женских он, конечно, будет выше (а среди дактилических еще выше) — во-первых, на двух слогах женской рифмы есть больше простора разгуляться неточности, чем на одном слоге мужской рифмы, а во-вторых, поэты, осознавая это, всегда используют мужские рифмы как опорные точки для слуха, между которыми перекидываются женские и дактилические рифмы,

играя неточностью (подробнее об эволюции неточных — и иных аномальных — рифм в русской поэзии за 250 лет см. в кн.: Гаспаров М. Л. Эволюция русской рифмы // Проблемы теории стиха. Л., 1984. С. 3—36).

Итак, среди женских рифм Пастернака процент неточных —

|                                                 |        |
|-------------------------------------------------|--------|
| в предфутуристическом «Близнеце в тучах» (1913) | — 21%; |
| в футуристических «Поверх барьеров»             | — 56%; |
| в «Сестре моей — жизни» — максимум              | — 62%; |
| в стихах 1918—1922 гг.                          | — 47%; |
| во «Втором рождении»                            | — 43%; |
| в переводах из грузинских лириков               | — 30%; |
| в стихах 1935—1941 гг.                          | — 18%; |
| в стихах 1956—1959 гг.                          | — 9%;  |

да и то эти 9% такого типа, что хоть они и неточные, но воспринимаются почти как точные; об этом разговор впереди. Для сравнения скажем, что у таких традиционалистов, как Твардовский и Исаковский, процент неточных женских рифм — 20—30%. Поздний Пастернак рифмует гораздо точнее, классичнее чем они.

Теперь процент неточных среди мужских рифм Пастернака — эволюция та же:

|                                        |        |
|----------------------------------------|--------|
| в «Близнеце в тучах»                   | — 4%;  |
| в «Поверх барьеров»                    | — 9%;  |
| в «Сестре моей — жизни» опять максимум | — 51%; |
| в стихах 1918—1922 гг.                 | — 28%; |
| во «Втором рождении»                   | — 15%; |
| в переводах из грузинских лириков      | — 5%;  |
| в стихах 1935—1941 гг.                 | — 2%;  |
| в стихах 1956—1959 гг.                 | — 0%.  |

О дактилических и прочих рифмах подробно говорить нет надобности: они дают больше всего простора и соблазна для игры неточностями, и поэтому Пастернак просто от них отказывается. В «Сестре моей — жизни» дактилические, гипердактилические и неравносложные рифмы, почти сплошь неточные, составляют 16% всех рифм, в стихах 1918—1922 гг. их 14%, во «Втором рождении» — 2%, в стихах 1935—1941 гг. — вовсе нет.

Заметим: когда мы перечисляли цифры плавного понижения неточности в мужских и женских рифмах, то намеренно пропустили несколько звеньев. Это поэмы. Их хронология: 1923 год — «Высокая болезнь», 1924—1925 гг. — первая половина «Спекторского», 1925—1926 гг. — «905 год», 1926—1927 гг. — «Лейтенант Шмидт», 1927—1929 гг. — вторая половина «Спекторского». Вот эти-то поэмы отчасти и нарушают ровную плавность эволюции к точности.

А именно, «Высокая болезнь» (с вариантами) как бы забегаёт вперед и даёт в 1923 году 41% неточных женских — тот уровень, которого Пастернак достигнет лишь через десять лет в «Грузинских лириках». А «Лейтенант Шмидт» даёт в 1926–1927 гг. 57% неточных женских, 29% неточных мужских и вдобавок 22% дактилических, гипердактилических и неравносложных — то есть как бы возвращается на 5–10 лет назад, к тому уровню неточности, который был у него в 1918–1922 гг. Такого рода аномальные перебои в постепенной эволюции рифм Пастернака и представляют особый интерес для рассмотрения.

Вспомним ситуацию создания «Высокой болезни». Это — конец массового лирического половодья 1910 — начала 1920-х гг., когда встает вопрос о перестройке всей системы русской поэзии и о формировании нового эпоса. Недаром в 1924 году Тынянов свою статью «Промежуток», кончающуюся мыслью, что эпос «слишком логически должен наступить в наше время», посвящает Пастернаку и дважды цитирует и перефразирует в ней строчку «Болезни» о том, как «в эпос выслали пикет». И сама поэма начинается тирадой о том, как «рождается троянский эпос». «Высокая болезнь» — это эпос о рождении эпоса. А что такое эпос для задумавшегося русского читателя и писателя стихов? Это поэмы Пушкина, Лермонтова, их современников и эпигонов. Это 4-стопный ямб с вольной рифмовкой. А что такое вольная рифмовка? Это прежде всего потребность в длинных рифмических цепях, которые не давали бы тексту распастись на четверостишия или иные строфы. Пример такой длинной рифмической цепи — первое же 16-стишие «Высокой болезни», всё на 4 рифмы:

Мелькает движущийся *ребус*,  
Идет осада, идут дни,  
Проходят месяцы и лета.  
В один прекрасный день пикеты,  
Сбиваясь с ног от беготни,  
Приносят весть: сдаётся *крепость*.  
Не верят, верят, жгут огни,  
Взрывают своды, ищут входа,  
Выходят, входят — идут дни,  
Проходят месяцы и годы.  
Проходят годы, — всё в тени.  
Рождается троянский *эпос*.  
Не верят, верят, жгут огни,  
Нетерпеливо ждут развода,  
Слабеют, слепнут, — идут дни,  
И в крепости крошатся своды.

И вот здесь нужно сказать несколько слов об особенностях неточной рифмы вообще. Ее открытие несказанно обогатило запасы рифмовки в русской поэзии XX в. — это бесспорно. Но один

недостаток у нее был. Она плохо позволяла нанизывать длинные рифмические цепи — пара строк с неточной рифмой звучала прекрасно, а тройка строк — уже натянута. Вот пример из «Во весь голос» Маяковского, который у каждого на слуху: «Слушай-те, товарищи *потомки...* — Заглуша поэзии *потоки...* — Я шагну через лирические *томики...*» «Потомки—потоки» — естественная рифма у Маяковского, «потомки—томики» — тоже, а вот «потоки—томики» Маяковский никогда бы отдельно не срифмовал: этот тип созвучий ему несвойственен. Цепь, составленная из неточных рифм, рассыпается. Приведенный пассаж из «Высокой болезни» опирается на три неточные рифмы: «ребус—крепость—эпос». В рифмической системе Пастернака они сцеплены друг с другом лучше, чем было у Маяковского, но и то для того, чтобы 16-стишие выстояло, эту неточную рифму приходится подпирать тремя точными: на «лета», «дни» и «своды». Вот так и возникает преждевременно повышенный процент точных рифм в «Высокой болезни». При этом парадокс: в длинных рифмических цепях Пастернак нарочно старается все-таки протянуть какую-то вереницу неточных рифм, например: «Хотя зарей чертополох, Стараясь выгнать тень подлиннее... — таким же... — вымчать... — ныче... — дымчат... — родимчик»; а в коротких четверостишиях и двустигмических как бы дает себе передышку и рифмует точно: «Уместно ли песнью звать содом, Усвоенный с трудом Землей, бросавшейся от книг На пики и на штык. Благими намереньями вымощен ад. Установился взгляд. Что, если вымостить ими стихи,— Простятся все грехи. Всё это режет слух тишины, Вернувшейся с войны, А как натянут этот слух,— Узнали в дни разрух». Все рифмы — образцово классические, и притом — мужские.

Что было дальше? Из опыта работы над «Высокой болезнью» для Пастернака важнее всего оказался именно этот опыт опоры на мужские рифмы как более точные. В стихах 1918–1922 гг. процент неточных мужских был довольно высок — 28%; в «Высокой болезни» он падает до 15% и — за единственным исключением, которое мы сейчас увидим, — продолжает держаться на том же уровне: первая половина «Спекторского» — 16%, «905 год» — 15%. В отличие от «Высокой болезни» с ее вольной рифмовкой, «Спекторский» и «905 год» написаны правильными четверостишиями, ощущение связи между рифмующимися словами здесь выше, и это позволяет поэту вновь немного ослабить точность женских рифм: неточных женских в «Высокой болезни» было, мы видели, 41%, в первой половине «Спекторского» и в «905 годе» — по 49–50%. А затем наступает неожиданное: пишется «Лейтенант Шмидт» с его 29% неточных мужских (вот оно,

исключение!), 57% неточных женских и 22% дактилических и гипердактилических — рифмовка Пастернака как бы вдруг отступает на рубежи 1918–1922 гг.

Чем это объяснить? Только внутрижанровым отличием новой поэмы от предыдущих. «Высокая болезнь» была лирикой, с трудом, на глазах у читателя, сгущающейся в эпос. «Спекторский» был такой же лирикой — об утре, о вокзале, о пригороде, — но она уже притворялась всего лишь отступлениями, а на первый план выталкивала разрозненные эпизоды сюжета. «905 год» был сплошным рядом таких эпизодов, и эпизоды эти были объединены точкой зрения — взглядом 15-летнего свидетеля и мыслью 35-летнего писателя. «Лейтенант Шмидт» же был опытом полифонической поэмы, где голос персонажа (или мысли его) чередуются с голосом автора, а голос автора меняет интонацию буквально от отрывка к отрывку: два митинга, один с «Клянемся! Клянемся!» и другой с «ветер прет наощупь, как слепой», только из-за разницы интонаций решительно ничем не напоминают друг друга.

Полифоническая структура «Шмидта» прекрасно разобрана в большой работе Ю. И. Левина (Левин Ю. И. Заметки о «Лейтенанте Шмидте» Б. Л. Пастернака // Boris Pasternak: Essays, ed. by N. Å. Nilsson. Stockholm. 1976, p. 85–161), и поэтому сейчас останавливаться на ней нет нужды. Важно то, что для смены интонаций нужна была смена размеров и рифмовок, и в ней находили себе место как укрепившиеся рифмы последних лет Пастернака, так и расплывчатые рифмы футуристической поры. Для «Шмидта» Пастернаку пришлось мобилизовывать весь запас своих художественных приемов, начиная с «Поверх барьеров», — поэтому неудивительно, что показатели рифмовки в «Шмидте» как бы возрождают раннего Пастернака, и так же неудивительно, что, кончив «Шмидта», он берется за переработку тех самых «Поверх барьеров», к опыту которых ему пришлось вернуться.

Инерция рифмовки «Шмидта» держалась на слуху Пастернака еще несколько лет. Правда, опору точности — мужские рифмы — он тотчас возвращает к прежней устойчивости: как до «Шмидта» процент неточных мужских был 15–16%, так и теперь, после 29% — ного взлета «Шмидта», он возвращается в конце «Спекторского» и во «Втором рождении» к тем же 15–16%. Но опирающийся на них процент неточных женских становится выше: в дошмидтовских поэмах он был 49–50%, в «Шмидте» 57%, во второй половине «Спекторского» 58% (а в первой было 50%!), и только во «Втором рождении» 43%. И потребовалась пауза в несколько лет (занятых преимущественно работой над прозой), чтобы началось дальнейшее движение от неточной к

точной рифме.

Качественный характер неточности также меняется от более заметного к менее заметному. Неточности в рифме бывают двух родов: пополнения и замены. Пополнение бывает, так сказать, на пустом месте, когда рифмуются нуль звука и согласный («но-ларшина—поро<sup>о</sup>диноК») и на непустом, когда рифмуются согласный с группой согласных («резвилиСЬ—извилиСТ»). Ясно, что в первом случае неточность более резка, во втором — менее заметна. Точно так же и замена: в рифме «еДут—эТот» она заметнее, чем в рифме «щеДРы—веТром». Не будем вдаваться в частности; скажем только, что в рифмах с пополнением в 1918—1922 гг. на девять резких случаев приходится только один смягченный, а в 1935—1941 гг., наоборот, на два резких случая — восемь смягченных; в рифмах же с заменой в 1918—1922 гг. на шесть резких случаев приходится четыре смягченных, а в 1935—1941 гг., наоборот, на два резких — восемь смягченных. И даже среди резких можно выделить разные степени резкости; не будем их перечислять, скажем только, что самые резкие замены, типа «миГ—затмиЛ», «встряхниСЬ—стрихниН», «настеЖЬ—мастеР», «лебединыМ—непобедимоСТЬ», в 1918—1922 гг. составляют еще одну треть всех резких замен, а во «Втором рождении» уже одну шестую: доля сверхрезкости сокращается вдвое.

И последнее, что необходимо сказать. Среди неточных женских рифм есть один тип, который в русской традиции считается условно точным (со времен Жуковского и Пушкина): это йотированная рифма с факультативным йотом *на конце* — «моги-лы—миЛЫЙ». Пастернак пользуется им не реже, чем другие поэты, но он делает узуально точным и другой тип йотированной рифмы — с факультативным йотом *внутри* — «отселе—ущель/И/я», «выпь/И/ю—прототи<sup>о</sup>», «алла брев<sup>е</sup>—дере<sup>в</sup>ь/И/я» (все примеры из «Второго рождения»). Пастернак сокращает другие типы неточных рифм, но этот сохраняет и даже учащает. Если мы причислим этот общий условно-точный тип «могилы—миЛЫЙ» и личный условно-точный тип «отселе — ущелья» к точным женским рифмам Пастернака, то получим вот такую картину эволюции от неточных рифм к точным. До сих пор мы считали проценты неточных рифм — теперь будем считать проценты точных. В 1918—1922 гг. точные рифмы составляли 80%; в «Высокой болезни» и первой половине «Спекторского» — 66—87%; «905 год», «Лейтенант Шмидт» и вторая половина «Спекторского» — снад, 55—56%; «Второе рождение» — возврат к точности, 68%; 1935—1941 гг. — 86%; 1956—1959 гг. — 100%. Таков один из маршрутов пути Пастернака к «неслыханной простоте».



## Б. ПАСТЕРНАК СОБИРАТЕЛЬ НАРОДНЫХ РЕЧЕНИЙ

---

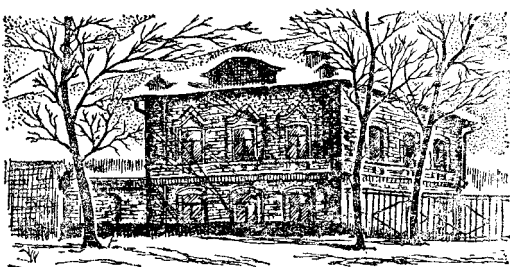
В. Г. Смолицкий,  
кандидат исторических наук

Разговорное просторечие — один из пластов поэтического словаря Бориса Пастернака. Да и не только поэтического. Еще молодым человеком он поразил К. И. Чуковского при их первом знакомстве своим московским говором, пересыпанным просторечными словами и выражениями. Пастернак неоднократно писал о влиянии на него в детстве «общения с нищими и странниками по соседству с миром отверженных». Их диалектная и грубопросторечная лексика стала впоследствии одним из элементов его поэтического словаря.

К этому языковому материалу обращались многие поэты, но цели их, как правило, были иные, чем у Пастернака: ими руководило желание или охарактеризовать среду, к которой они себя не относили, или нарочито огрубить стих с целью эпатажа читателя. И в том и в другом случае поэты создавали такой контекст, который подчеркивал исключительность использования «непозволительных» слов. Подобная литературная практика дала повод Е. А. Земской в статье «О понятии „разговорная речь“ сравнить привлечение просторечий с «употреблением иноязычных слов и выражений» (Русская разговорная речь. Саратов. 1970. С. 8).

У Пастернака просторечие — в известной мере его родной язык. «Грубые» слова у него теряют свою грубость, значение отрицательной характеристики, перестают быть «ругательством», что является в большинстве случаев главной функцией лексики такого рода. Они органически входят в структуру его стихотворной речи и становятся необходимой составной частью его поэтики. Вот несколько примеров для подтверждения вышесказанного. Про лес: «Что он плачет, старый *олух*?»; про Бальзака: «Его бессонные *зенки* / Устроены, как веретена»; про Марию Стюарт: «Нипочем *вертлхвостке* / Походжений угар <...>» (здесь и далее курсив наш. — В. С.).

То же самое происходит и с диалектизмами. Почерпнутые из областных говоров и перенесенные в поэтический «пастернаковский» контекст, они неожиданно раскрывают свою красоту, звонкость, «чарующую мяг-



Дом в Чистополе,  
в котором жил Б. Пастернак

кость» (выражение Б. Пастернака). В его стихах передки, например, такие слова, как *спрохвала*, *всклянь*, *вдогад* и др.

Еще больше в произведениях Пастернака разговорных фразеологизмов: «Окна сцены мне делают», «А лес как при царе Горохе», «Как будто побывал в их шкуре». Интерес к такого рода лексике и фразеологии сохранялся у Пастернака всю жизнь. Оказавшись во время войны в Чистополе на Каме (Татарская АССР), он внимательно прислушивался к говору местного населения. В этом городе, несмотря на быт, полный лишений, поэт, по его собственному выражению, почувствовал себя «ближе к коренным устоям жизни». В Чистополе поэт записывал незнакомые ему севернорусские диалектизмы и просторечия, идиомы, пословицы и поговорки Прикамья, обратившие его внимание своей выразительностью, игрой слов, иногда звучностью или необычностью ударения.

Среди рукописей, хранящихся у Евгения Борисовича Пастернака, сына поэта, имеется один лист фолио, сложенный вдвое и тем самым преобразованный в четыре большие страницы. На них — в черновом виде, неупорядоченно и бессистемно зафиксирован всевозможный словесный материал, озаглавленный автором «Чистопольские записки».

Приведем эти записи. Для удобства восприятия они распределены по нескольким рубрикам (в публикации сохранены особенности орфографии и пунктуации Пастернака):



### Пословицы и поговорки

Павфил и Вавил что собак давил.  
 (Сырые дрова) будут гореть до турецкой [сверху приписано на «турецкую»] пасхи (то есть никогда не загорятся — В. С.).  
 Ни за бога, ни за Христа (без пользы).  
 Мужик напасет, а баба растрясет.  
 Что хрис(т)ьян, то обезьян.  
 На нашу лень и завтра день.  
 Спящему да гуляющему нет ничего.  
 Куда иголка, туда и нитка.  
 За мое мое.  
 Сани в Казани, а хомут на базаре.  
 Пора вора́м по двора́м (вм. спокойной ночи).  
 Не мажь, ослепнешь (иронически, чтобы не перебирать масла в каше).



*Шуточные диалоги* (Вероятно насмешки  
окающего населения Прикамья над акающим говором — В. С.)

Двояшки родились. Нет один Яшка, а другой Поняшка.  
 Сватает дочь. Дочь у меня хорошая, да вот нога. А мы оденем.  
 Да нет, платье у ней есть, да вот нога. А мы ей шубу справим  
 (нога, нага).



### Словосочетания

Зате́вать тесто (один корень), за́тѣя и те́сто (в Этимологическом  
словаре русского языка М. Фасмера иначе: «те́сто» — укр. тісто,

др.— русск., цслав. *тѣсто* <...> Праслав. \**těsto* связано с *тискать*, *тѣсный* <...> — В. С.).

Кошкины загвины (по Далю, *загвины*, *заговины* — последний день мясоеда, канун поста, то есть тогда, когда кошка перестанет есть мясо, иначе: никогда — В. С.).

С темна до темна.

До нови (Ел. Петр. в Моск<ве>) картошки хватит до нови (Елена Петровна — няня Е. Б. Пастернака — В. С.).

Пес их знает. А разве их усамішь.

Тебе загорелось? Томашиться. Прищѣмило?

Сплошная, чистая, масляная (конец, прощенное воскресенье).

Положить воду (в рукомойник).

Казать кино.

Сроду он веселый, сроду веселый.

На нас едун напал.

Больше прошла (прошлого раза).

Я молоко лучше люблю, чем мясо (подчеркнуто Пастернаком — В. С.).

На корзинке вемпель (*земпель* — это диалектный вариант слова *вѣмбѣль*, по Далю астраханского происхождения и означающего «род округлого кулька, мягкой корзины из рогозы, чакана» — В. С.).

Ладно хоть не спесивая (не требовательная, не взыскательная).

В роте застаёт (т. е. язык отнимается от гнева).

Меня трясет.

Завтра поедем? Конь не валял.

Мазуля больно был (льстец, подлиза, наговорит бог знает чего).

Охристе боже.

Живет охрест вожжи не знаю кто.

Молчи, молчи, не протягивай рот-то.

Шли тюремщики в значении арестантов, заключенных, а в стар. смысле — стрелки.

Не лазай взад, вперед, шурониха! [в слове *шурониха* над *у* надписано *о*, еще выше — *а*].

Яйца ест как картошку.

И не почесалась (нахальство).

Сожгла дров целую истополь (по Словарю русских народных говоров, *истополь* — *истопель* — «количество дров на одну топку печки» — В. С.) зря [над словом *истополь* Пастернаком надписано *Чистополь*, и оба слова обведены].

Еще не чище (не лучше).

У, буйвол (ругательство).

Ядри твою мурмолку (Б. П.) [?]

Как шаврова (что?).

Распутное дите.  
 Уснули все гаврики.  
 Смотри, как дóхает (кашляет).  
 Он в своем шубняке и малахае.  
 Совсем распутилась (распутный, распущенный).  
 Ну гаврики (дети, черти).  
 Я не вклепался в вас (не ошибся).  
 На питник (то есть на пикник — В. С.) ездили. На рыбалку ездили.  
 Я проголосовала (крикнула) шóфёру, чтобы остановился.  
 Ни в какую. Надо говорить, а не вянуть.  
 Если мы такие слякие сухие намазанные.  
 Еще не известно. Может ты у меня на печке не належишься.  
 И не почешется. И не чешется (в знач. и бровью не ведет).  
 Чего вы бункаете. Разбункались (по Словарю русских народных  
 говоров, *бункать* — ворчать, говорить с самим собой — В. С.).  
 Мамаля уснет, мы ходим на дыбочках.  
 Многие насыкались (напрашивались).  
 И сам в окошко — махать (ну значит вымахнул из окна).  
 Перемена фамилии: зимой Морозовы, летом Горячевы.  
 Анекдоты продажи молока. Спросите кому не доходя (кому  
 попало).  
 Один день нажарим, два не топи.  
 Больная по женски.  
 (Надо сесть, наестся, напиться и пр.) а то сидит сидит — вы-  
 чечменивается (?) вычменивается, чванится.  
 Зыкала, зыкала (стукала в дверь / кричала) руки и ноги отбила.  
 Он там назырил (нашел, нащупал?).



#### Отдельные слова

У овце; Пшенисный (с подчеркнута Пастернаком — В. С.); Домовничаешь?; Козломорье (прест. праздник поповск. козел вообр. на колок, запутался в веревках, поднял трезвон); Заподзол (передник); Замечательно, что нахавосить происх. от сл. хаос, хавос; Нахавозили (напакостили). Т. обр. навоз, нагадили (то же самое); Наянливый; Расчетверивайся (распевеливайся); Семянки, семечки, головашка; Колыва — лужа [в слове *колыва* над *ы* надписано *о*]; Пыряется — борется, вихляется; Ухичка (ушица);

Набухвостничали (насплетничали); Скричать, позвать; Наян(ливые), нахальные, надоедливые; Сякнет (течет, сочится); врушка; В шабрах; (по Далю, *шабёр* – сосед; *в шабрах* – жить по соседству – В. С.); Братик; Сядитесь; Обмишульются (обознаться, ошибиться); Фирма (ферма), коровник; Хобысь, хлобысь (выплеснули); Махиник; Горлохваты (рвачи); Куродеры шкуродеры [написано одно слово над другим]; Мотолыга, (кость) мосолыга; Усамишь (их разве усамишь).

Пастернак «не ходил в народ», не ездил в фольклорные, этнографические и диалектологические экспедиции, он был «живым, живым и только», жил жизнью «рядового» простого человека.

Где услышал он эти слова и выражения: в очереди ли за хлебом или во время разгрузки баржи с дровами на Каме в тридцатиградусный мороз, или от соседей по квартире на общей кухне, дверь из которой вела прямо в его комнату; эту дверь приходилось держать открытой, так как на кухне бывало теплее, чем в его жилье?

Эти листки – свидетельство работы писателя над словом – показывают, как чутко Пастернак прислушивался к разговорной речи, как интересовался всем новым, что вносила в язык жизнь.



#### Вниманию читателей

Редакция доводит до сведения подписчиков, что с третьего номера 1990 года начинается публикация «Русского словаря языкового расширения», составленного писателем Александром Солженицыным.

СЛОВО ПИСАТЕЛЮ

# Это пребудет с нами

Из «Книги без жанра»

Даниил Данин

✱

Дождливым летним днем 1980-го года за письменным столом в переделкинском Доме творчества вдруг подумалось о Пастернаке строфой из его перевода байроновских Стансов к Августе:

Есть в пустыне родник, чтоб напиться,  
Деревцо есть на лысом горбе,  
В одиночестве певчая птица  
Целый день мне поет о тебе.

Наверное, оттого так подумалось, что за невеселой завесой дождя лежали те зеленые подмосковные заросли, где ровно двадцатью годами раньше навсегда поселилось его немолкнущее эхо. И захотелось еще раз послушать ту птицу. Сызнова осениться ветвями того деревца на лысом горбе. Снова прихватить свою горстку той родниковой воды. Словом, без всякого заранее обдуманного намерения — без предварительного сговора с самим собой — я принялся внезапно настукивать на машинке нечто, могущее быть названным «Пастернак и мы».

Сразу поместился на заглавном листе эпиграф из стихов Живаго:

Но кто мы и откуда,  
Когда от всех тех лет  
Остались пересуды,  
А нас на свете нет?

Потом настоятельно попросилась из «Разрыва» взять ее тоже эпиграфом совестная строка: «О стыд, ты в тягость мне!». И тотчас определилась настроенность возникавшего повествова-

ния. С годами оно разрасталось, превращаясь в пространную книгу. Мемориальные страницы о самом Борисе Леонидовиче стали лишь связующими вкраплениями в разнородный текст. Между собой они даже не связались в хронологическую цепь. И здесь этой связи между эпизодами не будет.



Мне не посчастливилось быть среди его друзей — пусть хоть неравноправно младших, поскольку он был на четверть века старше. Всего только прохожий на его улице, влюбленно поглядывающий на недостижимые окна. Но в этом-то качестве все-таки был однажды замечен, отмечен, привлечен.

Нет-нет, не всерьез, а так — мимоходом — короткой пристальностью на бегу остановленного взгляда и внезапно сочувственной улыбкой с палеонтологическим оскалом выступающих вперед зубов, точно улыбался он из раскопок прародины человека... А тот его смеющийся оскал, — прежний, натуральный, не усмирённый ровной аккуратностью позднейшего протеза, — бывал как бы мгновенным обнажением искренности. Ее маленьким взрывом! И составлял одну из необычайностей его привораживающего лица.

До лета 39-го оно было мне знакомо только издали. Рискуя судорогой в предплечьях, я вытягивал тощую юношескую шею, чтобы следить за этим лицом из отдаленного ряда на литературных вечерах в тесном зале «Дома Ростовых» на Поварской или в переполненном Политехническом или в еще более переполненном Университетском клубе на углу Моховой. А бывало, — в минуты консерваторских антрактов, — то открываясь, то заслоняясь в толчее обыкновенных лиц, вдруг вдали проплывало это лицо, как диковинное существо в аквариуме. И тотчас концерт вырастал в своем значении до непредвиденного события. И на следующий день всем сообщалось: — Вчера видел Пастернака!

А так хотелось обрести право на крошечную поправку в глаголе: «Вчера виделся с Пастернаком!» Но, конечно, и после первого знакомства с ним, когда я, смущенный до полной потери речи, был представлен ему в редакции «Литгазеты» Софьей Дмитриевной Разумовской, как «студент-физик и начинающий критик», и смог, наконец, лицезреть и слышать его на расстоянии рукопожатия, ничего не изменилось: права на то, чтобы «видеться», то знакомство не давало. А могло бы дать, будь я чуть смелее. ВЛ сердечно правилось общение с Софьей Дмитриевной. Не раз я слышал, как он уверял ее, что «уже уходит, уходит, ухо-

дит», и не двигался с места. А мои отношения с СД только начинались и я вообразить не мог, что сподоблюсь стать ее мужем. При ней и Пастернаке я немотствовал как бы вдвойне, робей и его, и ее. И уж, естественно, не решался ни на какие поступки, в подоплеке которых могло бы угадываться стремление дружески сблизиться с ним благодаря СД.

Так, и до, и во время, и после войны все встречи с БЛ всегда оказывались случайными. Для пего — ничего не значащими. Полными всякий раз новизны и плохо спрятанного волнения бывали они лишь для меня. Об этом тут и рассказ.

✱

Приходят на помощь его строки — из тех, что уже становятся понемногу хрестоматийными:

Начало было так далеко,  
Так робок первый интерес.

Для меня и многих моих сверстников Пастернак начался с Маяковского. Были и другие, начавшиеся с Маяковского: Асеев, Кирсанов, Каменский... Да только все они с годами кончились, будто въяве и не существовали. Они принесли в копилку юности свои стихи, но не были голосами стихии. В них звучали ее отголоски, но не она сама. А ею самой — ошеломляющим стихотрясением, как землетрясением! — первым явился шестнадцатилетнему отроку Маяковский. И хотя на протяжении все того же нескончаемого шестнадцатилетия приоткрылись взрослеющему мальчику еще и Хлебников, Цветаева, Мандельштам, Ходасевич, Ахматова, первопричиной их появления на столике у изголовья долевой тахты, равно как и первопричиной появления там же Бориса Пастернака, был Маяковский, в ту пору только что окончивший с собой.

Шел, стало быть, год 1930-й. Господи, как давно это было!

Пока живешь, не ощущаешь историчности своего частного существования. И жизнь представляется тратой времени. Между тем, она — скопидомка: исчезая, время накапливается. И предстоит уже бурить его толщу, если хочешь добраться до кембрия или силлура своего поколения.

Сейчас уже не оценить всей силы живого впечатления от выстрела 14 апреля 1930 года. Раздавшийся в глубинах старомосковского дома, он был услышан повсеместно. О ту пору наша печать еще не прятала таких нежелательных событий. Правде жизни часто еще разрешалось быть несанкционированной — непонятной. И узналось о случившемся просто из газет — утром следующего

дня. То не было загнанное на газетные задворки, скромненькое извещение в прямоугольной рамочке о безвременной кончине ... с глубоким прискорбием ... родным и близким ... Это было грохочущее заголовочными кеглями, развернутое на половину полосы четырехполосной «Правды» и громыхающее с нею в унисон по страницам всех столичных газет, трагическое оповещение человечества о внезапной беде. И черными провалами в глубины истории, — так это чудится сегодня моему уже стариковствующему сознанию, — зияли на газетных полосах его большие портреты: мрачно-волевое лицо.

Как сказала Марина Цветаева, его лицом мировой пролетариат мог бы чеканить свои монеты. Но это пришло позже. И переосмыслилось позже. Как и не менее масштабная метафора Пастернака в финале «Охранной грамоты», восходящая ко дню похорон Маяковского:

«Вдруг внизу под окном мне вообразилась его жизнь, теперь уже начисто прошлая. Она пошла вбок от окна в виде какой-то тихой, обсаженной деревьями улицы, вроде Поварской. И первым на ней у самой стены стояло наше государство, наше ломящееся в века и навсегда принятое в них, небывалое, невозможное государство <...> В своей осязательной необычайности оно чем-то напоминало покойного. Связь между обоими была так разительна, что они могли показаться близнецами».

Какое странное означилось сопоставление застрелившегося поэта и ломящегося в века государства: чуть ли не близнецы! Это еще предстояло обдумать. Но не тогда, а больше года спустя: «Охранная грамота» появилась у меня на исходе 31-го — первого «без-Маяковского» лета.

(Это ведь вполне резонно, вспоминая поэта, сперва припомнить, как поселились в твоей душе его строфы и строки).

...Добровольный уход из жизни окрасил фигуру Маяковского трагическим светом. Все, связанное с его именем, обрело громадный смысл. Как в пастернаковском «Марбурге», помните: «Каждая малость жила и <...> В прощальном значении своем подымалась». При тогдашнем моем запойном чтении и перечитывании Маяковского, конечно, скоро наступил черед тоненькой книжницы в краснобуквенной обложке — «Как делать стихи?». А там объявлено было гениальным «четверостишие Пастернака»:

В тот день всю тебя, от гребенок до ног,  
Как трагик в провинции драму Шекспирову,  
Носил я с собою и знал наизубок,  
Шатался по городу и репетировал.

Гениальное..! Такая награда в представлении мальчика могла выдаваться лишь чему-то, содеянному классиком, ушедшим уже в историю. Живому такая аттестация не полагалась. Даже Горький этой чести еще не удостаивался. Даже — страшно сказать! — сам Сталин. (Впрочем, кажется, именно в 30-м кто-то первым не поскупился на эту лесть вождю).

Через минуту пастернаковская строфа навсегда прописалась в памяти. Вместе с ошибками, сделанными Маяковским: он пропустил слово «всю», а взамен «носил» хорошо придумал «таскал за собою». Надо было немедленно узнать — откуда она, эта строфа.

Сегодня все было бы просто. Набрал телефонный номер любого литературно-просвещенного приятеля и слушай ответ:

— ...Шатался по городу и репетировал? Да это же из «Марбурга»! Помнишь — «Я вдрагивал. Я загорался и гас»?

С вероятностью девять десятых такой ответ последовал бы без раздумий. Но пятьдесят лет назад (это писалось в 1980 году — Д. Д.) еще ничто пастернаковское не было расхожим известным. Даже само его имя. Громким оно было только в литературно-художественной среде. И ее близких окрестностях. Возможно, это покажется сегодня неправдоподобным, однако для «литературных мальчиков» источником симпатии к его имени был тогда прежде всего «Юго-Запад» обожаемого всеми возрастами Багрицкого:

А в походной сумке —  
Спички и табак,—  
Тихонов,  
Сельвинский,  
Пастернак...

Так он и стоял, еще неизвестный, в мальчишечьей табели о рангах: на ступеньку ниже покоряюще-романтического Багрицкого — рядом с «последним акмеистом» Тихоновым и «первым конструктивистом» Сельвинским. (Маяковский и Есенин были с детских лет вне такой табели). А теперь запоздало дошедшее до юнца признание Маяковского — «гениальное четверостишие» — одним скачком подняло Пастернака недосягаемо. Но надо было еще самому доискаться до этих четырех строк — до «Марбурга». И в этих-то поисках произошло первое узнавание незнаемого. И пленение узнанным. Как засвидетельствовало время — пленение навсегда.



А потом было первое слушанье Пастернака. (Припомнить это тоже вполне резонно, согласитесь...).

...В начале 80-х толпы московских мальчишек ходили в Музей изобразительных искусств на Волхонке, — еще не осененный именем Пушкина, — поглазеть на рукотворную птицу по кличке «Летатлин». Автор наделял ее функцией «воздушного велосипеда». А была та птица редкостной красоты созданием ученого-конструктора, инженера-орнитолога, исследователя-художника. И важным казалось не то, что она предположительно умела, а то, как она реально гляделась: все в ней дышало поэзией мысли. Владимира Евграфовича Татлина — соратника Хлебникова и Маяковского — называли «русским Пикассо» (одни — с восхищением, другие — с издевкой), и под этим прозвищем сведущие указывали на него нам, несведущим, когда он дежурил возле своего деда, точно боясь, что оно улетит...

Однако зрелище Летатлина в музейном окружении немых скульптур перекрывается в памяти другой картиной. Весной или ранним летом 1932 года он осенял своими крылами многолюдный литературный вечер в том особняке на помянутой Пастернаком Поварской, где ровно за два года до этого Москва прощалась с Маяковским. И это был авторский вечер Бориса Пастернака.

Он читал «Второе рождение» — едва ли не всю книгу целиком. Возможно, и в самом деле — целиком: вечер длился сладостно-нескончаемо — аплодисменты порождали все новые и новые стихи. Мы — ребята из молодежной «Бригады Маяковского» — пробрались туда, в «Дом Ростовых», неостановимой ватагой. Для нас, непримиримо «левых» в искусстве, Пастернак, — хоть и знали мы об его выходе из ЛЕФа, — был безусловно «свой». И Татлин был «свой», как и Пастернак, удостоенный Маяковским щедрого эпитета «гениальный». Нам не нужны были пригласительные билеты (не знаю даже, были ли они), чтобы загораживать хорошие места.

Помню, как довольно было, приподнявшись, вытянуть вверх руку, чтобы коснуться пальцами черного мяча. Это распластался над залом Летатлин, прикрепленный к лепному потолку, как огромная люстра. Два волейбольных мяча служили ему чем-то вроде шасси. И здесь сведущие указывали глазами на Татлина, сидевшего сзади, — громоздкого, бледного, одинокого.

А мы были счастливы! И в довершение нашего юношеского счастья весь вечер сидел перед нами на сцене абсолютно «свой» Мейерхольд. Он сидел за торцом председательского стола боком

к валу, и с неизменностью фигуры на египетской фреске весь вечер тянулся к Пастернаку стремительным профилем.

И над всем этим парила необыкновенная птица!

Можно ли такое забыть?

...Много лет спустя, в послевоенном Переделкине, на одной из дач Дома творчества, у меня был случай косноязычно припомнить в присутствии БЛ, как мне в юности повезло, если я впервые слушал его под крыльями Летатлина. Наверное, сказалось это излишне мечтательно что ли, в общем — не так, как надо. БЛ громко и словно бы спеша предварить еще что-нибудь избыточно красивое, быстро проговорил:

— Да-да, но ведь он не летал, не правда ли? — и засмеялся. — Только стихи умеют быть такими ненужными... Нет-нет, я не то хотел сказать. Давайте говорить о другом!

И был разговор о другом. Но надо бы тут дорассказать сначала существеннейшее из «пастернаковских случайностей» юности.

✱

По соседству с «Марбургом» обнаружилась в «Поверх барьеров» колдовская строфа, объемлющая жизнь гибкими извивами послушного слова:

По-прежнему давнее кажется давешним.  
По-прежнему, схлынувши с губ очевидцев,  
Безумствует была, притворяясь незнающей.  
Что больше она уж у нас не жилица.  
И мыслимо это? Так, значит, и впрямь  
Всю жизнь удаляется, а не длится  
Любовь, удивленья мгновенная дань?

Как и полвека назад, *мгновенная дань удивленья* перед этой строфой, заставляет признать, что любовь, — по крайней мере, и таким живым существам, как стихи, — может не только удаляться, но и длиться всю жизнь. Но это — к слову. От ностальгии. А есть тут маленький вопрос: «схлынувши с губ» или «с лиц очевидцев»?

Всегда печаталось «с лиц». Однако, у меня в ушах голос Пастернака, гудящий в подуподвальном коридоре университетского Клуба на углу Моховой: после его вечера, — было это поздней осенью 33-го или 34-го, — уступая напору стайки студентов, застолбленный на месте нашим восторженным знанием его текстов, смеясь и отнекиваясь, сбиваясь и повторяясь, он начитывает нам «куски из старого» и звучат эти «губы очевидцев». И один из нас поправляет его. И вспыхивает короткий спор: «губы оче-

видцев» — лучше по рисунку, а «лица очевидцев» — лучше по музыке. Мы перебиваем друг друга, а БЛ наслаждается нашим азартом и соглашается с каждым по очереди громкою скороговоркой — «да-да, да-да-да-да!», так что остается непонятным, кто же прав...

Но, пожалуй, этот эпизодик в коридоре, ведущем к сцене, не стоил бы пересказа, если бы ему не предшествовало выступление Пастернака на самой нашей клубной сцене в до отказа переполненном зале. Разумеется, зал то взрывался аплодисментами, то замирал в терпеливом слушании. И не было в этом ничего необычного для литвечеров. Кроме одной черты: зал аплодировал не целиком, а островками, и не сразу полагая волна рукоплесканий прокатывалась по всем рядам. Это живо в памяти, потому что досаждало.

Мы — группка студентов плюс внеуниверситетский мой друг Вальдик Кузнецов (сын профессора истории музыки) — были одним из вулканизирующих островков: начинали бешено хлопать за полстроки до окончания стихотворения, потому что знали — сейчас финал. Нас одергивали смирно слушающие рядом, а мы огрызались, ощущая себя знатоками, а их — толпой. И не скрывали своего пренебрежения: ясно было — они привалили на Пастернака как привалили бы и на Жарова: ради похвально-повального, но безличного поветрия тех лет — «повышать свой культурный уровень». Или того хуже: ради извечно-светского «быть в курсе».

То наше стихо-сектантство было самонадеянно и невежливо, как любое сектантство. Но не вспоминать же его с осуждением? Не замешанное ни на чем корыстном, оно было чище чистого. И уж если говорить не про один тот вечер и не только про университетскую среду, то нельзя не заметить, что существовал в нашем поколении незримый архипелаг пастернаковских островков, вовсе не элитарно-малочисленный. Когда бы не мрачность параллели, можно было бы его окрестить шутивно — «архипелаг Пастернак». И — клянусь четой и нечетой! — его существование на карте духовной жизни нашего времени когда-нибудь оценит историк культуры.

Может быть, он вот что поймет: эти мальчики и девочки, выросшие и становясь папами-мамами, передавали своему потомству некий повышенный уровень одушевленности. Всепроникающей. Атмосферической. Та невесомая одушевленность — одухотворенность — интеллектуальность — не приносила знаний, для какого бы то ни было дела необходимых. Она выглядела совершенно бесполезной для строителей Магнитки на пастернаковском

Урале или для проходчиков метро в пастернаковской Москве. Однако, она лишь выглядела такой, а на самом-то деле...

Ипостаси нашей разноликой эпохи всегда вели свой гамбургский счет. Были высоты выше горы Магнитной. Были глубины глубже станций метро. У качелей истории-жизни-природы обнаруживался никакими планами незапланированный разлет...

Мчались звезды. В море мылись мысы.  
Слепла соль. И слезы высыхали.  
Были темны спальни. Мчались мысли,  
И прислушивался сфинкс к Сахаре.

Море тронул ветерок с Марокко.  
Шел самум. Храпел в снегах Архангельск.  
Плыли свечи. Черновик «Пророка»  
Просыхал, и брезжил день на Ганге.

Мы качались на этих качелях — во весь их разлет. Качались, замороженные необъятностью открываемого поэзией мира и ненасытностью воображения художника. Не поддавалось ни определению, ни подытоживанию, ни экзамену то, что узнавалось нами. Тут был бессилён счетоводческий стиль нашего скотовода-Хозяина: «шесть условий», «четыре причины», «три источника», «две стороны» (а потом еще — «десять ударов» и та-да и та-па) — семинарское пифагорейство для добровольно умозаключенных! А мы не были умо-заключенными. И в этом состояла неоценимая ценность бесполезного и безгрешного пастернаковского начала в нашей одушевленности.

...Когда стихи отзвучали, Пастернак стал отвечать на вопросы. Окончилось наше сектантское всезнайство. Теперь мы с соседями поменялись ролями. Вольничали они, а мы сердились. Нас держало с закинутыми головами взнузданное внимание: не пропустить бы в его ответах хоть что-нибудь! И тут на границе нашего островка разыгралось маленькое происшествие. Забавное.

Прямо перед моим Вальдиком Кузнецовым юный дылда в ковбойке все привставал, ораторски выкидывая руку в сторону сцены, будто чувствовал себя на броневике, и ядовито выкрикивал архи-глупые подначки, вроде — «ого!», «а еще что?», «урра!» Мы свирепели: «Заткнись!» Он не слушался. Последней и довольно громкой его подначкой было: «Ид-деалист!» Тут мощно широкогрудый Вальдик молча опустил ему на плечо тяжелую руку и с такою силой усадил на место, что материалист промазал мимо сидения. Уже снизу до нас донеслось: «Выйдешь на улицу, сволочь, поговорим!» А Вальдик с бешеным спокойствием отовзвася сверху: «Поговорим, поговорим, а пока, чтоб тихо было, яс-сно!» И стало тихо.

А в тишине... (впрочем, память тут наверное выгодно связывает два разрозненных момента того вечера)... в тишине снова зазвучал для нас голос Пастернака:

— Да-а, да-да-да, эта записка — об идеализме. Она против меня! Я прочту ее целиком.

Он прибавил что-то благодарственное «за прямоту изобличения», и стал читать, не сдерживая коротеньких приступов внезапной смешливости, словно попутно прихлебывал нечто горячее и вкусное. Конечно, той записки мне не воспроизвести — даже пародийно. Но помню, что Пастернак «идеалистически приписывал объективной действительности» личные «мелкобуржуазные мнения», поскольку у него «какой-то арум не просит у болота милостыни». Ответ был гораздо короче записки и мы его потом десятки раз повторяли, защищая Пастернака на тогдашний обычный энгельсовский лад, как «стихийного материалиста». Могу сейчас воспроизвести тот замечательный ответ с почти магнитофонной точностью:

— Вы не виноваты, когда думаете, что для идеалиста внешний мир не существует. Нет, вы не виноваты. Хочу уверить вас — мир существует! Даю честное слово... (веселый вскрик)... А «какой-то арум» — это не говорящее животное, как полагает автор записки, а болотное растение... Простите меня!

И всё! Взрыв нашего ответного смеха, как и аплодисменты, снова был островным. Но, подумать только, я рассказываю это, как занятую историю полувековой давности, не более того! Славный анекдотец, не так ли? Отчего же за ушами — то ли знобкий жар, то ли легкий мороз? Благо ходкой Истории — той, что с большой буквы: нынешние интеллектуальные мальчишки-девочки уже не смогут безошибочно представить себе — отчего вдруг температурит уши у рассказчика. А это — от стыда забывчивости!

Слова меняют не столько словарное значение, сколько историческое звучание: какое от них раскатится эхо зависит от социального рельефа жизни вокруг. Сегодня беззлобно-академическое, — ну, по крайности, дискуссионное, — слово «идеалист» звучало в 30-х опасным клеймом. Оно вертелось в соседстве с застеночными — «оппозиционер», «малOVER», «оппортунист», «вредитель», «гнилой либерал». Оно было из политического словаря, а вовсе не философского. И в любой день могло послужить сигналом к расправе. Вся штука в том, что сверх вялых эпитетов — «объективный» там или «субъективный», идеализм обзавелся зубо- или, лучше, судьбо-дробительными — «махровый», «поповствующий», «виляющий», «реакционнейший», «низкопробный»... Ах,

ребята,— мысленно говорю я еще живым университетским ровесникам,— мы ж это всё проходили, «хор» и «отл» получали за это в зачетных книжках!

...Это ведь как раз в ту пору одареннейший Георгий Гамов,— ленинградский однокашник и друг Льва Ландау, но на беду еще внук одесского епископа,— озорной остроумец и смелый теоретик, уличаемый нашими догматиками в «физическом» — всего лишь физическом! — идеализме, нервно вычислил вероятность своей будущей посадки, и убедившись, что она равна единице, то есть посадка неминуема, постарался в 34-ом году не вернуться из парижской командировки, дабы превратиться потом в Джорджа Гамоу, «американского физика», как сообщают наши энциклопедии, прибавить людям понимания микро- и мегамира природы, а в заключение спиться до смерти от классической русской эмигрантской тоски. Такое вот эхо бывало раскатывалось от слова «идеалист» на том рельефе жизни.

О, Марбург 15-го года! О, неокантианство! О, Герман Коген! О, все эти напрасные пустяки! Пастернак в своей юности проходил совсем не то, что мы в своей. Но в зрелости знал все наше получше нас: он не отметки получал, а удары. Отчего же так беспечально смеялось ему на том вечере в нашем клубе — в бывшей церкви великомученицы Татьяны? И отчего же беспечально вторили ему наши преданные островки? «Обширный вопрос» — говорю по-достоевски.

Впрочем, из чего же следует, что беспечально? Верно, что улыбочиво, но вовсе не весело сказал он — «вы не виноваты...» И сам невиноватый, зачем-то все-таки просил простить его. Точно вводил нас в заблуждение и теперь сожалеет об этом...

Тогда сильнейшим доводом в подтверждение его праведности была у нас в обращении строфа из недавнего «Второго рождения»:

В родстве со всем, что есть, уверясь  
И знаясь с будущим в быту,  
Нельзя не впасть к концу, как в ересь,  
В неслыханную простоту.

И его странно-шутливое «простите меня» (за милостыню у болота и прочее, наверное) прозвучало для нас на том вечере новым обещанием неслыханной простоты. Ей-богу, совсем просто все выглядело! И особенно — помнятся еще два его ответа на записки с обращением «дорогой», будто спрашивали старые знакомые. Самые коротенькие из множества длиннющих, давно забывшихся, те записки запомнились благодаря его, еще более корот-

ким, мгновенно-находчивым, снимающим проблему восклицаниям.

Спрашивалось: «Дорогой Борис Леонидыч, можете ли Вы логически раскрыть каждую Вашу строку?» Следовало молниеносное:

— Ах, нет! Каждую в отдельности я не раскрою!

Спрашивалось: «Дорогой БЛ, почему Ваши ранние стихи так непонятны?» Следовало:

— Ах, да это потому, что они — р-ранние!

Сейчас приходит в голову: а, может, и впрямь не надо усложнять прожитое? Однако, ведь не ради тумана, а ясности ради, он прибавил к строфе о неслыханной простоте:

Но мы пощажены не будем,  
Когда ее не утаим.  
Она всего нужнее людям,  
Но сложное понятней им.

На том клубном вечере он простоты не утаивал, но и не боялся, что ему за это пощады не будет. А зримаая его беспечальность, пожалуй, действительно была беспечальной: как уверенно и свободно он держался! Соображаю задним числом: он был нами застигнут на одном из гребней его колеблющегося доверия к ходу нашей истории. (Можно даже заключить, что вечер происходил не осенью 33-го, а осенью 34-го — вскоре после 1-го писательского съезда, где Пастернак был «на коне».) А мы, его островитяне, кроме хода истории, доверяли еще и ему. И уверенность нашей повадки была как бы удвоенной. С тем мы и расположились в эпилоге вечера на тротуаре улицы Герцена — у выхода из клуба — в ожидании дылды, пообещавшего Вальдику «поговорить на улице». Он должен был появиться, конечно, со своей компанией.

Мы долго там маячили, предвкушая стычку под аркой Зоологического музея наискосок — не драться же у священного подъезда. Но, очевидно, мы слишком долго после вечера общались с Пастернаком в коридоре под сценой — аудитория успела вся разойтись. А возможно материалист смотался от греха подалее... Так или иначе, жаль, черт возьми: было бы сейчас что вспомнить! «Драка из-за Пастернака» — это славно бы прозвучало.

✱

Минуя всякое-разное, перенесусь на десятилетие вперед — во фронттовую зиму 43–44-го — на левобережье Южного Буга — в глухомань нашего тягучего наступления по бездорожью после летних

кроваво-блистательных побед на Орловско-Курской дуге. Там, под Орлом, на исходе лета, с группой писателей побывал Пастернак. Ему показали-рассказали путь 3-ей армии. Это безошибочно можно было распознать по его «Смерти сапера». С топографической ясностью боевого донесения, казалось бы неожиданной в поэтике Пастернака, там изображался прорыв на Зуше, включая разгромленные конюшни и дрогнувшее Завершье:

Сражение хлынуло в пробину  
И выкатилось на равнину (...)

Я видел все это воочию на рассвете 12 июля. И когда в середине декабря, уже вдали от тех мест, на Украине, до нас добралась по расхристанным дорогам «Красная звезда» с этим стихотворением, я — поверьте — впал почему-то в состояние полной отрешенности. Возможно, то был приступ «тоски по литературе». Забросив очерк для нашей дивизионной газеты, я сел за письмо к Борису Леонидовичу. Длинное, туманное, из тех, что диктуются не смыслами, а умонастроениями минуты. И не требуют ответа. (Оно сохранилось в архиве БЛ).

Естественно, я не буду приводить его здесь. Как и не буду описывать понятные чувства, с какими недели через три — уже в январе 44-го на левобережья Южного Буга — вскрывал конверт с его ответным письмом и тоненькую бандерольку с книжкой «На ранних поездах». До сих пор не понимаю, почему военно-полевая цензура милостиво пропустила все фразы в его тексте:

Милый Даниил Семенович!

Благодарю Вас за сердечное письмо. Его нельзя оставить без ответа. У меня действительно были серьезные намерения, когда я писал «Сапера». Его немного изуродовали (даже его!), как всё, что мы пишем. Там все рифмы были полные и правильные: у Гомеля — сэкономили; смелые — проделаю; вынести — глинистей. Изменения, которые делали без меня, пришлось как раз по рифмовке. Кроме того выпустили одну строфу. Это противно.

Вы в большом заблуждении, думая, что Ваши чувства в каком-то смысле общие и распространенные среди многих. Я привык осторожно обращаться с общностями, как «народ», «армия» и пр., и никогда не любил романтизма, даже когда он не был еще официально признан.

Вы ошибаетесь, думая, что я со своим миром и люди подобные мне (даже с большими именами) кому бы то ни было нужны и на деле заслуженно известны. Ничего подобного. Обидная курьезность нашего явления достаточно определилась именно в последнее время и дальше будет только расти. Я никогда не возвеличивал интеллигента и не любил его, как и романтика, но не поклонялся и невежеству. Темнота самоутвержденная и довольная собой ни к чему меня не склонит.

Я не верю в успешность своих нынешних усилий. Вы спрашиваете о поэме. Я начал ее с другими надеждами. Но общий тон литературы и судьба отдельных исключений, отмеченных хоть какой-нибудь мыслью, обескураживают.

*Трагический Боженька,  
наваливает на Всевышнего, и тогда  
многие люди русские и когда  
не зная своего не писали, не  
сознавали, как много открыли для себя  
высшего. Все равно. Я пишу не,  
кто не может. Я пишу взи-  
рающим. Не зная критиканов, и  
с такой резкостью, что это  
меня когда-нибудь погубит.*

Посылаю Вам «Поезда». Это книжка ничемная и конфузная по запоздалости, малости размеров и случайности содержания. Лучшее из военных (Русскому гению) и лучшее из переделкинских (единственных живых страниц книги) «Вальс с чертовщиной» выкинуты. Стихов, как переделкинские, должно было бы быть вдесятеро больше, их нужно было бы, как и вообще всякую свою литературу, прозу, драматическое, писать постоянно, а не переводить десятилетиями с недельными отступлениями. Сейчас один из театров заказал мне «Отелло». Надо жить.

Еще раз спасибо. Не старайтесь меня разубеждать. Писать письма мука и бесполезное дело, я их от Вас не

жду. Вы и так слишком много мне сказали. Еще раз спасибо.

*Ваш Б. Пастернак*

Письмо без даты. Но на конверте два почтовых штемпеля: ясный — «31.44», и непонятный — «1 час. 44». А в дарственной надписи на книжке — под пожеланием счастья — «30.XII.43». Все эти подробности греют душу. Помню, я собрался было тотчас написать ему снова и даже ободрить, офицерски-молодцевато, в противостоянии всему, что его «когда-нибудь погубит». Но остановило предупреждение, что новых писем он от меня не ждет. Что бы за этим ни стояло, дурное или хорошее, надо было искушение побороть. И больше я БЛ не писал.

✱

Меж тем, мне следовало рассказать ему нечто фронтовое, связанное с ним. Я сделал это после войны во время одной из встреч все в том же Переделкине.

...Ополченский сентябрь 41-го года под Вязьмой. Тоска войны без войны. Учебное ползание по-пластунски на размокших полянах. Снизу вода и сверху вода. И взбалмошные команды нашего ротного — лейтенанта Раевского, белоглазого, неулыбающегося, уже психически пошатнувшегося. И наши с Эммануилом Казакевичем обсуждения вполголоса — «не из тех ли он Раевских?» И ставшая у моего друга мечтательным паролем пушкинская полустрофа: «Когда б не смутное влечение чего-то жаждущей души...» На царольную фразу, как и должно, нашелся отзыв. Из Пастернака. Он нашелся на одном беспросветном рассвете, когда лейтенант Раевский по мнимой тревоге зачем-то поднял только нас двоих — ненавистных ему очкариков. Не соображая спросонок, кто нас будит, я сказал из глубины шалашика: «Спи, царица Спарты, рано еще, сыро еще...» На счастье, дуроломный лейтенант переспросил: «Что?! Что-о!», а в ответ мы уже стояли вертикально. С того рассвета до нашей разлуки 30 сентября, когда Казакевич ушел в школу младших лейтенантов, к нашему обычному соревновательному перечитыванию пастернаковских стихов прибавилась каждодневная игра: пушкинский пароль — пастернаковский отзыв. «Когда б не смутное влечение...» — вдруг говорил один из нас. «Рано еще, сыро еще...» — отвечал другой. Мы играли в эту игру и после войны — по телефону...

В первом же письме ЭК, добравшемся до меня под Оптиной Пустынью в марте 42-го (после драматической эпопеи ополченского окружения), он написал среди прочего:

«...С учебной бригадой, куда я уехал от лейтенанта Раевского, я участвовал в боях и отходах... Вообще вел себя довольно хорошо. Много думал о тебе и твоей судьбе. Ясно представлял себе тебя, выбирающегося из окружения, что ты при этом говоришь, делаешь, думаешь... «Смутное влечение чего-то жаждущей души» осталось, но оно не столь остро, как бывало... Мне писали из Чистополя, что Борис Пастернак переводит «Ромео и Джульетту». Я написал моему адресату о нашей любви к Б. Л. и о том, как мы в условиях тяжелейших как-то утешались его стихами, и просил передать ему это. Пусть будет рад, что и он пригодился на войне...»

Рассказав БЛ об этом письме и включив в глагол «утешались», кроме стихов, еще и нашу игру, я спросил — исполнил ли чистопольский адресат Казакевича его просьбу, и услышал в ответ: «О, да! О, да!» Прошло немало времени и однажды у телефонного закутка под лестницей в переделкинском Доме творчества, куда Пастернак, не осчастливленный аппаратом на даче, нередко приходил звонить в Москву, он уставился на меня вспоминающим взглядом и вдруг — без всякого предисловия — сказал:

— ...А, наверное, это совсем не утешительно, по несколько раз на дню узнавать, что «рано еще, сыро еще...»! А? — и рассмелся чему-то невысказанному.

✱

В памяти живет еще одна парольная фраза — любимое выражение Туси (Софьи Дмитриевны Разумовской) — возможно цитата откуда-то: «Нас связывает преступление тайных дум». Не более, чем греховно-романическая по происхождению, эта фраза была, однако, произносимой только в тесном дружеском кругу: уж очень она настраивала на доносительское толкование... Мне случилось услышать, как СД с улыбкой адресовала этот пароль Пастернаку.

...Тверской бульвар был зеленый. Дом Герцена — желтый. Тоненькая СД — вся в голубом. Стройный Пастернак — весь светло-коричневый. Встреча была такой празднично благополучной по краскам и стояла такая легкая теплынь, что в свой черед хотелось стоять и стоять на воле. Мы и стояли на воле — он, вышедший из Литфонда, и она со мной, торопившимся в Литфонд. Катилось раннее лето 1947 года. Точнее не скажу. Но

тут лишь то важно, что Пастернаку было тогда вовсе не легко и не весело.

Еще ширились дурные слухи о запретительных издательских последствиях для БЛ сурковской статьи против него. А та статья была завуалированным ответом английскому критику Симону Шиманскому, скрытому в недрах множественного числа — «реакционные зарубежные критики». А Шиманский в свою очередь как бы отвечал Жданову на его литературный погром 46-го года. И восхищенно противопоставлял Пастернака всей «официозной» нашей поэзии. Алексей Сурков так хищно набросился на противопоставляемого, что даже забыл о своих привычных повадках «гниены в сиропе» (как давно окрестили его коллеги); доносительно клеймя Пастернака, сиропа он на этот раз не тратил, и его статья в «Культуре и жизни» выглядела угрожающе.

То был орган Управления агитации и пропаганды ЦК партии. И опасно шутя, все называли его «Александровским централом», ибо начальствовал в Управлении историк философии Георгий Федорович Александров. Позднее он был уличен в забавах — никому не вредивших — с красивыми актрисами. На страницах его централа, просуществовавшего до 1 января 51-го года, забавлялись судьбами культуры и ее деятелей. На правах редактора, он мог бы укоротить Суркова, попросив его убрать из статьи хотя бы две не очень точные фразы — о «скудных духовных ресурсах Пастернака» и о «нищете духовного мира Пастернака». Но нет, ни о чем таком минимально-интеллигентном философ Александров не попросил поэта Суркова: «Культуре и жизни» культура была без нужды, а жизнь — тем более...

Тогдашние беды БЛ естественно вторглись в его разговор с Тусей (себя исключая — я присутствовал почти немо). Зримо ощущалось: ему по-сердцу было радостно жаловаться красивой приятельнице на комическое (!) и нелепое обилие свалившихся на него невзгод. С порывистой словоохотливостью он валил в одну кучу Шиманского, Суркова, болезни детей, неприятности с переводами, досадное малоденежье, редакторские претензии, дачно-огородные неурядицы и какие-то правовые оплошности с Литфондом. Он выговаривался так, будто рассказывал, какой он дьявольски везучий и как славно-списходительна к нему жизнь!

Запомнилось о Суркове: — Да-да-да, я его не читал... мне пересказывали... свинство неподсудности!..

И тут же, симметрично, о Шиманском: — Да-да-да, я и его не читал... мне передавали... слепота неуместности!

В тот час хотелось, чтобы голос БЛ звучал потише. В Доме Герцена кончился литинститутский день. Мимо нас проходили,

с интересом приглядываясь, разномастные студенты. А Пастернак не соразмерял своего возбужденного голоса с расстоянием до чужих ушей. Что это было? Детскость? Беззаботность? Или намеренная игра против правил? Или он слишком правился себе?

— Борис Леонидович! — отважился я, наконец, вклинить в разговор, чтобы высказать мудрый политический совет, как еще не отстраненный тогда от должности руководитель Комиссии по теории литературы и критике Союза писателей (да, вот представьте, года полтора я был «шишкой» в СП!). — Борис Леонидович, а что, если бы Вы заявили вслух об этой «слепоте неуместности» Шиманского... что Вы не во всем с ним согласны... Все кончилось бы — все было бы в порядке!

Он подхватил эти слова немедленно и все с тем же радушием, точно только и ждал такого совета:

— Да-а, да-да-да, Вы правы! Вы правы!.. Но тут прочиталось бы, будто я со всем согласен у нас, не правда ли? А я согласен не со всем. И даже со всем не согласен! — и он радостно рассмеялся получившейся словесной игре.

Это — не реставрация его тогдашнего ответа. Униженное, как отповедью, сознание хранит те слова достаточно точно. Настолько, что, поверьте, их можно считать «цитатой из Пастернака». Я замолок наглухо. И тут-то, как бы затем, чтобы обелить меня, последовала парольная фраза СД, отнесенная ко всем нам вместе: «Нас связывает преступление тайных дум!» Он потянулся к ее руке. И снова, не давая выроненным словам упасть, подхватил их стремительно и добросердечно:

— Я ничем не заслужил всего, что Вы мне наговорили...

Относилось ли это ко всей их беседе, или только к последней фразе об единомыслии — не знаю. Он радовался, находя его.

✱

А потом глубокой осенью того же, если не ошибаюсь, года случилась в Переделкине та встреча, когда в ответ на мое мечтательное упоминание Летатлина он сказал об «уменьи стихов быть ненужными» и предложил «говорить о другом». Это надо дорассказать. «О другом» было коротко, но, господи, как единственно — по-пастернаковски...

На нашу нижнюю террасу бывшей треновской дачи, где мы жили по литфондовским путевкам, Борис Леонидович спустился однажды сверху — со второго этажа, как с небес, — так неожиданно-негаданно было его появление, да еще утром. Оказалось, пока мы

ходили завтракать, он навещал прихворнувшего Василия Васильевича Шкваркина, унося от него толстую папку с рукописью. Объяснил, что это начало его романа. Слова «Доктор Живаго» не были произнесены. Помню ревнивое чувство: почему Шкваркин, а не СД — в первочитателях его новой прозы? (На себя я этой чести, право же, не примеривал.) Но словно сработала тут телепатия, БЛ, оперев папку о стол, сказал — вроде бы нам обоим, а по смыслу — Тусе:

— Не сердитесь, что Вас еще обременит эта важная для меня тяжесть: когда она станет тяжелее, я притащу ее в «Знамя»... (СД была тогда знаменским редактором прозы. — Д. Д.)

В этот момент, тяжело преодолев крыльцо, на террасу вступил из сада Юрий Карлович Олеша. Растерзанный бессонницей, не опохмелившийся, красноглазый. Что привело его к нам в тот утренний час — здесь не существенно. Нехорошо было, что он чувствовал себя скверно. И заставил нас ощутить, что мы как-то повинны в этом. Молча поглядывая на пастернаковскую папку, сумрачно подобрал в плечи замечательно весомую свою — бетховенскую — голову. И стало неизвестно, о чем говорить. Было чувство, что его подавляло зрелище объемистой рукописи БЛ, тоже, как и он сам, не принадлежавшего к баловням нашей литературной истории тех лет... Я принялся заполнять неловкий вакуум и тут-то прилетел Летатлин. А пастернаковское «давайте говорить о другом» обязывало его и говорить:

— ...У меня сегодня утро непредвиденных встреч! — сказал он (и всё легко реконструируется по сохранившейся кратенькой записи СД). — Не предвидел, что вас тут поселили... И Олешу не предвидел... А по дороге сюда, откуда ни возьмись, Фадеев! Что там ни говори про него, а сразу видно: он — личность! И, представьте, спрашивает совершенно по-соседски: «Как вы?» А я отвечаю, что мы с ним живем на гуттаперчевой почве: то он поднимается, а я опускаюсь, то я поднимаюсь, а он опускается! Посмеялись и разошлись. И вдруг он окликает. Снова сошлись. «Что ж это за гуттаперча, — говорит он, — если сейчас мы с вами оба внизу?!» И захохотал. Я тоже.

И мы стали смеяться — так это безоблачно было рассказано. А оба тогда действительно были одновременными жертвами разных проработок. Фадеев — за правду отступления 41-го года в начале «Молодой гвардии». Пастернак — за всегдашнюю правду своей независимости.

Дав нам отсмеяться и словно бы отогретьшись, Юрий Карлович весело заключил (Ну, не «весело», согласен, но с отрадой):

— А я всегда внизу! Действительно, что за странная гуттаперча?!

✱

Как всегда, недосказанного остается гораздо больше, чем сказано. Ничего не поделаешь: дисциплина заданного объема.

В ночь с 30 на 31 мая 1960 года мне случилось быть постояльцем в поднебесьи — на арагацкой станции космических лучей под Ереваном. Физики насстраивали рацию. Шумно переговаривались. И внезапно все затихло: невозмутимый голос сообщал по-английски о смерти Бориса Пастернака — недавнего лауреата Нобелевской премии по литературе. Все были подавлены. Стали расспрашивать об «истории с Пастернаком» меня, единственного в ту минуту москвича-литератора на горе. И всё крутили настройку рации — в надежде поймать сообщение из Москвы. Глубины майской ночи наполнились голосами на всех языках. И со всех концов света приходила скорбная весть, что выдающегося землянина больше нет на свете. А Москва молчала. И не помню уж, кто первым сообразил, что молчание это совершенно закономерно: в день кончины у Бориса Пастернака не было достаточных иерархических кондиций для радио-сообщения об его смерти. Даже не член Союза писателей. Всего только член Литфонда. О, господи! Или — как у него:

«О стыд, ты в тягость мне!»

## Мих. Осоргин



В номерах пятом и шестом нашего журнала за 1988-й год были напечатаны заметки писателя Михаила Осоргина (1878—1942) под общим заглавием «Слова и выражения». Публикация обратила на себя внимание, и читатели интересуются, не было ли у М. Осоргина других работ в этом роде. Ответом служат помещаемые три его статьи, увидевшие первоначально свет в популярной на «русском Западе» парижской газете «Последние новости»: «Крылатые слова» (1932, 20 января), «Филология русской души» (1933, 29 августа) и «Великий и могучий» (1936, 20 апреля). Эти содержательные и ярко написанные эссе свидетельствуют: их автор в сложных общественных и бытовых условиях зарубежной жизни страстно отстаивал чистоту родного языка, стоял воистину на страже русской речи.

## «Крылатые слова»



Совсем недавно я прочитал заметку, что в Париже чествуются память С. В. Максимова в день столетия его рождения. Признаться — был немало удивлен: значит, кто-то помнит и чтит память писателя-этнографа 60–70 годов, замечательного знатока оседлой и бродячей Руси и славного языковеда! Может быть, кто-нибудь даже хранит и перелистывает его книги, им же нет числа, собранные перед войной в двадцать томов, изданных «Промсвещением». Удивительно это в наше забывчивое время, да еще за рубежом!

Даль, Максимов, Сахаров, Снегирев, — кто помнит их имена? Даля, впрочем, помнят, потому что остался по нем знаменитый «Толковый словарь живого великорусского языка»; но кто читал сотни рассказов и сказок этого «Казака Луганского», по происхождению чистейшего датчанина, первого и непревзойденного знатока великорусской речи? Его последователем и соперником в этом был С. Максимов. Оба они в своих бесконечных писаниях дали образцы чистой речи, не запятнанной иностранщиной. Оба старались проникнуть в глубины русского языка, который любили потогдашнему, а не по-нынешнему. В своих остроумных исследованиях делали немало ошибок и ложных догадок — но зато какой бесценный клад оставили нам!

Книга С. Максимова «Крылатые слова», трижды переизданная и все-таки трудно находимая в продаже, стоит того, чтобы вспомнить о ней в связи с разговорами об «охране родной речи». Эта книга очень любопытна, и знакомство с ней многим поможет разобраться в выражениях, которые мы постоянно употребляем, но смысл которых далеко не всем понятен.

Кто, действительно, кстати и некстати не употребляет выражений «попасть впросак», «бить баклуши», «лодырничать», «не в бровь, а в глаз», «где раки зимуют», «после дождичка в четверг», «с бухты-барахты», «напиться до положения риз», «убить бобра», «меж двух огней» и проч., — совершенно не понимая и даже

не задумываясь, откуда появились такие выражения и что, собственно, они обозначают?

Мы «откладываем дело в долгий ящик», не подозревая, что уже почти триста лет этого «долгого ящика» не существует. Он был прибит у подъезда дворца царя Алексея Михайловича в селе Коломенском для челобитных на имя царя. Он был длинным, так как до Петра писали на длинных свитках. Из длинного он стал «долгим», потому что поданная жалоба, проходя через руки ближних бояр и дьяков, «инде застрянет, инде совсем исчезнет, если не смазаны колеса скрипучей приказной машины».

Большую давность имеет и выражение «после дождичка в четверг». По объяснению И. Снегирева, принятому и С. Максимовым, на славяно-германском Севере четверг был посвящен Турову или Громову дню (Турстаг). Тур — славянский Перун, которому молились о ниспослании дождя; позже этот обычай перешел в христианство, и самый день обезличился. Но слишком частые неудачи молений остались в памяти славян приуроченными к Турову дню, четвергу. Мы, давно уже не верящие «ни в сон, ни в чет (или ни в чох, ни в жох), ни в птичий грай», продолжаем к тому же дню приурочивать свои сомнения.

Что, например, такое «ни бельмеса не смыслить» или «нести галиматью»? Относительно «бельмеса» дело обстоит просто; по-татарски «бель-мес» значит «не понимаю». С «галиматей» сложнее. По одному толкованию, это — имя парижского врача (Галли Матье), рассылавшего своим клиентам листочки с остротами и каламбурами; по другому толкованию, французский адвокат старых времен, защищая дело некоего Матьяса, у которого украли петуха, сказал по латыни вместо Gallus Matthiae — Galli Matthias. Слово это, конечно, французское, но не менее у нас употребительное, чем чушь, ахинея, вздор, чепуха, ерунда (последнее несомненно от латинского «герундивус», а не от немецкого «хир унд да»). Но не любопытно ли, что кусочек старинного французского быта, какая-то маленькая нелепость, ненадолго занявшая внимание «всего картё», запечатлелась на века в языках нескольких народов!

Или кто знает, что «кавардак», т. е. путаница, шумная суета, — есть не что иное, как ломти просоленной и провяленной красной рыбы (чаще всего осетра), обычное кушанье уральского казака в дороге. Из «кавардака» делают и болтушку с луком и толчеными сухарями, а на Волге тем же именем зовут пшеничную похлебку с рыбой.

Такого-то «хватила кондрашка» — удар. Оказывается, что у кондрашки есть и отчество и фамилия: Кондратий Афанасьевич

Булавин, Бахмутский атаман, предводитель донского бунта 1707 года.

Но и «собаку съел» (знаток, «спец») — выражение историческое. Дело происходило в Петрозаводском уезде, в Шелтозерском обществе, следовательно, у олончан. Там была свадьба, и случилось несчастье: в заготовленные «щи» с убоинкой, т. е. со свиным и коровьим мясом, которые готовятся с ночи, чтобы упрели, заполз и упал щенок. С тех пор петрозаводцы и прославились тем, что они «боску съели» (боска — собака). Насколько эта история правдива — никто точно сказать не может, но иного объяснения не найдено.

«Пуститься во вся тяжкая» или заорать «во всю ивановскую» — выражения породы колокольной. Раньше говорили: «во всю ивановскую колокольную фамилию», «во все кампаны», — имея в виду колокола на Иване Великом в московском Кремле. Что до «всей тяжкой», то в начальных словах служебной книги Пентикостарион (цветная триодь) можно прочесть: «То же удаляют во вся кампаны и тяжкая и клепят довольно». Так полагалось делать в пасхальную заутреню.

Выразим надежду, что на вечере московского землячества в Татьянин день будет «нетолченная труба» народу. Но что это за труба? С. Максимов приводит догадку, что в ходячем выражении делают ошибку (как это часто случается), и что нужно говорить «нетолоченая», от слова «толочить», «торить» дорогу в непроездом месте. А труба — улица в старорусском городе, узкая, по которой, как дым, течет народ. Догадка, пожалуй, малоудачная. Скорее, можно вспомнить о слове «толочься», «толкаться» («толчется по передним», «и не учен, да толчен»), или даже слово «толочь» (просо в ступе). Что касается до «трубы», то где же и быть толкотне, как не на «толкучке», и о какой толкучке говорить, как не о московской Трубе — Трубной площади! В праздник на этой Трубе не протолчешься — не про нее ли и говорили: «нетолченная труба»? Странно, что это простое объяснение упущено Максимовым.

Выше я упомянул выражение «напиться до положения риз». Оказывается, что начало ему положил граф Матвеев, посланный при Екатерине Первой в Московскую губернию для выяснения вопроса о подушной подати (в 1726 году). Это Матвеев писал, что в Суздале он пробыл долго и что 24 ноября, в день именин императрицы, угостил всякого чина людей 70 человек «до положения риз». Очевидно, этим он хотел сказать, что удовлетворил их надолго, до самого лета, так как праздники «положения риз» бывают 2 и 10 июля.

Очень любопытно объяснение ходячего слова «лодырничать», «гонять лодыря». Даль сопоставляет это слово с немецким «людер» или «лидерлих». Но в московском университете хранились препараты, завещанные ему доктором Лодером, по-видимому, виноватым в появлении нового слова. Этот доктор первый познакомил Москву со способом лечения минеральными водами, причем он заставлял своих больных, после питья, долго и быстро ходить. Лечение было модным, и кучера и лакеи, доставив господ для беганья по аллеям парка или на Воробьевы Горы, объясняли любопытствующей публике, что господа «лодыря гоняют». То же самое гонянье лодыря можно наблюдать и на современных курортах.

Немало крылатых слов заимствовано нами из языков иностранных, отлично приспособленных русским говором. Так появились на свет выражения «на шерамышку», «шаромыжник», когда в 1812 году голодные французские солдаты, отставшие от армии, бродили по именьям и по деревням, прося о милости и обращаясь со словами «шер ами!». Оттуда же и поговорка: «брать шаром да даром». Французы же подарили нас выражением «строить куры», как немцы — «задать феферу (перцу)». От итальянцев наше слово «шарлатан» (чарлатано), которому почему-то придается бранное значение (обманщик), хотя итальянцы этим словом называют и самых добродетельных уличных фокусников. Понятно происхождение слова «шарманка». И не от «шевалье» ли произошло наше «шваль», — хотя такой догадки наши языковеды не приводят. Или просто от шваль — лошадь, падала на улицах сожженной Москвы?

Можно бы до бесконечности продлить перечень подобных выражений, произносимых нами без понимания их первоначального смысла. Большинство их я взял из книги Максимова «Крылатые слова», где их приводится 179, далеко не все в удачном толковании.

Произносить без понимания — почти всегда значит путать и употреблять некстати. Вот пример полной чепухи, получившейся после долгого употребления из обычной и осмысленной пословицы. Часто говорят, как бы чураясь: «Сухо дерево завтра пятница!». Это — исковерканная вконец пословица: «Сухо дерево взад не пятаится», т. е. сухое дерево не выгибается обратно, как молодая и свежая березка. Мне кажется, что и выражение «полетел вверх тормашками», для которого в словаре Даля нашлось сопоставление с «тормазом» (как бы опрокинулась повозка вверх тормазом), попросту испорчено долгим употреблением. Не вниз ли турмашиком? Кто видал голубиную гоньбу, старинное излюб-

ленное занятие старых и малых в уездной России, тот помнит голубей-турманов, взлетающих к небу и падающих комочком, пока близ самой крыши снова не распусят крылья. Турман - голубь-вертун, иной через голову, другой через крыло, — и цена им за то разная. И говорят у нас про людей: «полетел с крылечка турманом», не те же ли это самые таинственные «тормашки»? Впрочем — путь догадок путан и скользок!

Но не на путь догадок, а на путь понимания и изучения богатств родного языка призывают книги даровитых и уже многими забытых любителей и исследователей русской речи. Вероятно, для большинства читателей малозанятны такие путешествия в область языковедения; но на большинство не угодишь; может быть, найдется хотя бы меньшинство, возрастом посмоложе, которое, отложив на время новый французский роман, заглянет в старую русскую книжку.

# Филология русской души



Нелегко иностранцу понять славянскую, особенно русскую душу! Среди опытов и толкований небезлюбопытны филологические. Во флорентийском литературном ежемесячнике «Соларио» такую задачу ставит перед собой Ренато Поджоли, автор статьи «Глоссарио». Его соображения недостаточно научны, но все же обнаруживают в нем знание русского языка. Некоторые из них стоит привести.

На наречиях латинских понятие «область» (реджоне) связано со словами «реджере» и «ре» (управлять, король), по-русски же передается словами «страна, сторона», в связи со словом «пространство». Отсюда естественный вывод: «Душа латинская прежде всего помышляет о человеке и государстве, душа славянская — о природе и пространстве».

Вывод занимательный и многозначительный, может быть, даже правильный — хотя наше слово «область» связано также со словами «обладать» и «власть».

Русское слово «растение» связано с понятием роста; соответствующее итальянское «пьянта» — от «пьянтаре», сажать. Вывод: «Расу латинскую больше всего занимает мысль о человеческом участии в деле земледельческой культуры, о работе плуга и посева, о труде наших рук, — между тем как славянин лишь созерцает труд природы». Высший образец русского — воинствующий кочевник и пастух, козак — в то время как каждый латинянин прежде всего великий садовник.

Опять — по существу не возразишь; любопытно, что латинское слово культура (земледелие) нами воспринято и понимается в несравненно более широком смысле, настолько широком, что тем же словом оно обратно на наречии латинском не передается. И про эту «культуру» мы также говорим: «она растет».

Останавливает внимание итальянца и наше слово «деревня» (от слова «дерево»), соответствующее итальянскому «кампанья»

(от слова «кампо», поле). Для итальянца, стало быть, деревня — ряд владельческих участков, для русского — как бы сплошной лес.

Маленькое недоразумение со словом «животное» (анимале). У русских оно в связи со словом «живот», у итальянцев со словом «душа» (анима). Вывод: «Еще раз подтверждается, что латинянин мыслит все одухотворенным, бестелесным, одаренным сознанием, славянин — растительным, прозябающим».

Нedorазумение в том, что слово «живот» у нас обозначало первоначально «жизнь» (у болгар и сейчас), а итальянскому «вентре» соответствует слово «брюхо». Поэтому и «животное» должно переводиться как «живущее». Кстати, итальянское понятие «корраджо» (смелость) вполне передается словом «фегато» — печень, — откуда, следуя методу Ренато Поджоли, мы могли бы сделать самые неожиданные выводы.

Наше слово «город» по-итальянски — «читта» (в связи с латинским «цивитас»). Следовательно, мы представляем себе город, как место укрепленное, огороженное, чисто внешним образом, а латиняне мыслят при этом о внутреннем, о гражданских правах обитателей, об их жизненном идеале. Возразить трудно! Впрочем, уменьшительное от итальянского «читта» будет «читтаделла», т. е. крепость, цитадель.

У русских нет собственных слов для обозначения главы монархии; царь — от Цезарь, король — от Карла Великого, князь — от немецкого «кениг» или английского «кинг». «Такое отсутствие собственных слов для обозначения верховной власти есть признак природной анархии». Слово «господин» взято с латинского «хостис потис», хозяин гостей, что «указывает на прямое родство между состоянием беспорядка и режимом насилия»; у итальянцев же «синьор» (старший) указывает на духовный примат, на главенствующую роль зрелого сознания.

Автор положительно упускает случай поговорить о сменявшем слово «господин» слове «товарищ», символе коммерческой сметки (от «товар»).

Но больше всего поражает автора наше понятие «свет», толкая его на такое соображение:

«Не кажется ли почти язычески лишенным чувства греха и ада народ, который, как народ русский, одним и тем же словом „свет“ обозначает нашу мрачную планету — и образ правды, божественного, света (луча)?»

И действительно — наше выражение «тяжко жить на свете» — невозможно буквально перевести на европейский язык! Но что же делать, если для нас «свет клином сошелся», — что также невозможно передать даже приблизительно!

## «Великий и могучий»



Совершенно не обязательно восхищаться «великим и могучим» русским языком; в нем есть много недостатков, начиная от отвратительной буквы «щ» (тщетно тщиться тощей теще щеткой щечку щекотать) и кончая ударениями на седьмом и далее от конца слога. За словечки вроде «ощущающийся», «самоусовершенствование» можно его возненавидеть. Любителей порядка не может не возмущать отсутствие в нем, и даже невозможность, правил ударения. Или, например, есть слово «пол», и есть слово «стол»; а почему говорится «на полу», но «на столе» — никому не известно. Вообще, грамматику русского языка могут знать только иностранцы; для русского она непостижима.

Но богатство русского языка сказочно: в нашем «интеллигентском» обиходе мы едва ли пользуемся сотой частью живого словаря. Во всяком случае, даже люди высокого образования не знают множества самых простых и очень хороших русских слов, — и осудить их за это нельзя.

Я сейчас приведу письмо одного читателя, пораженного нелепостью, найденною им в письмах Льва Толстого. Я недавно писал, что Толстой любит и знает природу. В ответе на это читатель сообщил мне такой отрывок, приведший его в негодование:

«Одна черемуха выросла на дорожке орешника и заглушила лециновые кусты. Долго думал я, рубить или не рубить; мне жаль было. Черемуха эта росла не кустом, а деревом, вершка три в отрубе и сажени четыре в вышину, вся развилистая, кудрявая и вся осыпанная ярким, белым, душистым цветом. Издалека слышен был ее запах. Я бы не срубил ее, да один из работников (я ему прежде сказал вырубить всю черемуху) без меня начал рубить ее. Когда я пришел, он уже врубился в нее вершка на два (читатель здесь приписывает: „прошу вычесть!“), и сок так и хлюпал под топором, когда он попадал в прежнюю тяпку. „Нечего делать, видно, судьба“, — подумал я, взял сам топор и начал рубить вместе с мужиком. Всякую работу весело работать;

весело и рубить. Весело наискось глубоко всадить топор и потом напрямик подсесть подкошенное и дальше, дальше врубаться в дерево. Я совсем забыл о черемухе и только думал о том, как бы свалить ее. Когда я запыхался, я положил топор, уперся с мужиком в дерево и пытался свалить его. Мы качнули: дерево задрожало листьями, и на нас закапало с него росой, и посыпались белые, душистые лепестки цветов. В то же время точно вскрикнуло что-то в середине дерева; мы налегли, и как-будто заплакало-затрещало в середине, и дерево свалилось. Оно разодралось у надруба и, покачиваясь, легло сучьями и цветами на траву. Подрожали ветки и цветы после падения и остановились. — „Эх, штука-то важная“, — сказал мужик.

«Если вы, — пишет читатель, — при чтении прилагаемого отрывка представите себе перед своими глазами дерево, имеющее у основания „вершка три“, то художественность Толстого должна вас привести просто в ярость, и возможно, что и его босые ноги и крестьянская рубаха могут получить другое освещение».

Как, действительно, объяснить такое странное явление? Дерево в отрубе три вершка. Мужик уже врубился на два вершка. Оба они «запыхались», дорубая третий вершок и, с большими усилиями, в два приема, свалили, наконец, тоненькое дерево. При этом несомненно, что хороший топор в сильных руках легко перерубит трехвершковый ствол с единого маху! И это пишет Лев Толстой!

Но Лев Толстой не подозревал, что слова «в отрубе» требуют пояснения. Толщина дерева «в отрубе» меряется не по нижней части ствола (комель, голомень), а по вершине, по среднему поперечнику верхней трети дерева. Четырехсаженная черемуха была трехвершковой в отрубе вершины, но рубили ее, конечно, у основания, в комле, тотчас повыше корневища, где четырехсаженная черемуха должна быть очень толстой. Именно черемуха, склонная куститься, имеет обычно широкое корневище и, вырастая одним деревом, часто бывает «комлястой», т. е. тонкой в вершине и несоразмерно толстой в основе лесины. И тем труднее ее свалить, уже достаточно подрубленную, к тому же при весенних соках. Толстой рисует замечательную по художественной правде и точности картину, причем говорит простыми, обиходными, хорошо ему, как и любому крестьянину, знакомыми словами, не учитывая, что эти слова могут быть неизвестными русскому человеку или им забытыми.

Пример недоразумения, очень занятный! Кажется — что может быть обычнее дерева, всем знакомого? И в то же время можно поручиться, что множество обычных слов, относящихся к

нему, неизвестно большинству городских людей. Его корни делятся на становой и боковые; от них отходят корешки и мочки, впитывающие питательную влагу. Близ поверхности земли корни образуют корневище, которое переходит в лесину, ствол. Его нижняя часть — комель, пень; вся часть, лишенная сучьев и идущая на бревно — голомя, голомень, кряж (также ослесть, оследица, чисть), вплоть до рассохи, где ствол раздваивается на два сука. Дальше идут сучья, ветки и листья, и вся часть от рассохи до вершины с разветвлениями зовется комом или клубом. При рубке большое дерево делится на комель, другаяч и третьяк (вершину), и именно по третьему меряется толщина в отрубе. Целиком, от корня до отруба или до тонкой вершины очищенное дерево — хлыст, а только до рассохи — бревно. Все это слова обычные, ходовые, а дальше пойдут торговые (по толщине бревна — шест, жердь, двойничина, бревно, слегка, кряж, мачтовик) и бесконечный ряд определений по лесному хозяйству (лес красный, черный, строевой, мачтовый; бор, роща, мелколесье, сухостой и пр.). Всех слов не перечислить и не запомнить — и, однако, хороший хозяин их знал. И неспроста Толстой, говоря о своем орешнике, особо поминает лещиновые кусты, крупные, древовидные кусты орешины; ему было жалко глушить их высокой черемухой. — Привожу эти хорошие русские слова только для примера — полюбоваться богатством языка.

Я недавно читал, что в аэропланном строительстве есть до трех тысяч названий для особых частей. Это — область техники, а не языковедения, и такие слова недавней выдумки. Но для русского крестьянина, который рубит себе избу, едва ли не у каждого бревна, во всяком случае у любой части сруба свое название, — иначе и не разберешься. Есть они и у каждого угла избы, от верхнего продольного бруса (князя), лежащего на деревьях с закорючинами (курицы), до подклети. А сколько слов для деревянных украшений, от причелины, подкрылна, косицы — до полотенца, сережки и даже — не очень благозвучно — «дырявой сопли» (подкрылок с пропиленными дырочками, на конце «князя», под самой крышей). Часть этих слов постепенно исчезает, но все же они не технического порядка, а бытовые, каждому в деревне известные. Таково же и убранство дома, разное житейское барахло, требующее тысячи слов, позабытых городом. Всякое полотенце — утиральник, но одно — ручник, а другое — ширинка. А меня вот уверял один языковед, что в деревне личное полотенце зовется урыльником (от рыло). Это — ужасное недоразумение, даже и объяснять неловко!

\* \* \*

Один очень известный художник рассказал мне о своей поездке по деревням по поручению московского музея, для закупки художественных образцов крестьянского обихода, главным образом, деревянной посуды; особое его внимание привлекали деревянные ковши и чаши. Когда он выехал из одного села, ямщик, заинтересованный его покупками, сказал ему:

- Тут, барин, у одного хозяина была ендова — очень знатная!
- Так почему же ты мне не сказал?
- Вы спрашивали братину, а то ендова!

От «братины», большой круговой чаши «ендова» отличается только носком, «отливом». Художник думает, что ендова отличается от братины формой ручки. Я пытался выяснить разницу по словарям: академическому, Даля и недавно вышедшему «Толковому». Академики полагают, что «ендова — род братины». Даль определяет братину, как «медную полуведерную ендову с развалом и носком». Судя по тому, что «ендовой» называется также круглое озеро с проливом, и еще отвод для воды на крыше, — надо думать, что отличием ендовы является именно носок для слива. Сколько труда и сколько догадок! А между тем, для ямщика эти два понятия настолько отличны, что ему в голову не пришло рекомендовать ендову барину, который искал братину! Нужно прибавить, что самое слово «ендова» обычно и отнюдь не архаично; каждый русский человек его слышал, и его можно встретить в сочинениях Загоскина, Писемского, А. К. Толстого, Островского, даже Белинского.

С удовольствием отмечу, что интерес к русскому языку у зарубежных русских огромный, — вероятно, потому, что скучается по хорошей речи и берет страх совсем ее забыть. На каждую беседу о языке читатели отвечают потоком писем, в особенности из дальних стран и глухих местечек. Иногда по поводу какого-нибудь ходячего выражения, или только ударения в слове, завязывается спор, и стороны обращаются за разъяснением, обещая, что проигравшая сторона несет такую-то сумму на благотворительное дело. На одну из недавних заметок я получил письма из Финляндии, Англии и Америки, причем американский читатель прислал любопытный образчик тамошней «русской литературы»: печатное постановление Русского национального комитета, поразительное по безграмотности, подписанное двумя лицами с чисто русскими фамилиями, с высшим образованием, состоящими при этом и в «Пушкинском комитете». Постоянные обращения за советом, где найти руководства по русскому языку, какими

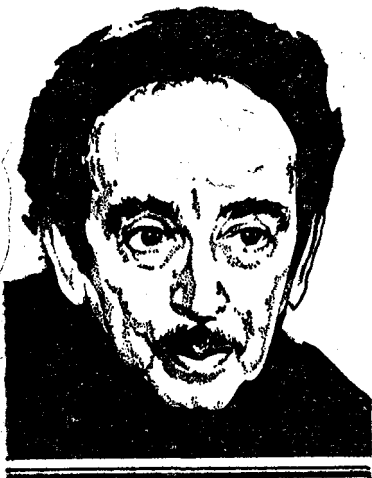
справочными изданиями можно пользоваться. Нужно сказать, что в последнее время стало легче доставать хотя бы словари живого языка; дважды переиздан словарь Даля (за рубежом и в СССР), выходит в Москве новый «Толковый словарь», неплохой, хотя и с потугами на «дух эпохи», в словаре мало уместными. К сожалению, очень дорог и трудно находим словарь Академии наук в старом издании и новой переработке некоторых выпусков, впрочем остановившийся на букве «Н», с пробелами и в буквах предшествующих; на то, что он будет закончен, — надежды никакой нет. До сих пор не приступлено к составлению новых или хотя бы переизданию сборников образных слов и иносказаний (вроде труда М. И. Михельсона), совершенно необходимых для изучающих язык, в особенности для пишущих. Трудно объяснить, почему «темпы» советских издательств, действительно необычные (многотысячные и даже миллионные тиражи беллетристики), замедляются в области языковедения до черепашого шага; если велик спрос здесь, то там-то потребность должна быть исключительно великой.

Читатели часто спрашивают, почему газеты и журналы не заведут постоянных отделов русского языка (хотя бы в форме «вопросов и ответов»), как существуют отделы юридических советов, спорта, скачек, радио, фотографии, шахмат, бриджа, собирания марок. Не знаю почему, но, откровенно говоря, это было бы немножко страшным, поскольку, например, речь идет о русских периодических изданиях в Америке, где выработался такой жаргон, что не всегда можно понять, о чем идет речь. Страшно не за вопросы, а за ответы. Впрочем, таких отделов нет и в российских изданиях; очевидно, «великий и могучий» язык не в такой моде, как хотелось бы думать. Французы относятся к своему языку серьезнее и любовнее, и не только в «Нувель Литерэр» есть постоянный отдел языка, но даже сатирические издания («Канар Аншэнэ» и др.) охотно ловят ошибки и стараются «стоять на страже».

Но ловить вообще легко — труднее самим не поймаваться.

*Публикация О. Г. Ласунского ©*

# АЛЕКСАНДР ГАЛИЧ



На могильной плите Александра Аркадьевича Галича [наст. фамилия — Гинзбург] на кладбище под Парижем год его рождения ошибочно значится как 1919. В действительности он родился 19 октября 1918 года в Днепропетровске. С 1923 года — в Москве. Учился в оперно-драматической студии К. С. Станиславского, откуда перешел в Московский театр-студию под руководством А. Н. Арбузова и В. Н. Плучека, был среди организаторов и участников комсомольского Фронтowego театра.

В 1961 году автор знаменитых в то время пьес «Вас вызывает Таймыр», «Походный марш», «Пароход зовут «Орленок» и фильмов «Верные друзья» и «На семи ветрах» благополучный московский драматург Александр Галич неожиданно для многих начинает писать песни глубокого гражданского — в истинном смысле слова — содержания, которые наряду с правозащитной деятельностью приводят его в итоге к трагическому концу. Запрет на выступления, расторжение всех договоров, зимой 1971—72 — исключение из Союза писателей, Литфонда и Союза кинематографистов, жизнь без средств к существованию, предложение выехать из СССР... В 1974 году Александр Галич вынужденно покидает Родину, а вскоре — 15 декабря 1977 года — погибает от несчастного случая в своей парижской квартире.

Только в 1987 году А. Галич печатно назван на родине поэтом, ставятся его пьесы, созданы спектакли по его песням, выходят его книги. Решения о его исключении из Союза писателей и Союза кинематографистов СССР в 1988 году отменены как ошибочные.



### Памяти Бориса Леонидовича Пастернака

Правление Литературного фонда СССР извещает о смерти писателя, члена Литфонда, Бориса Леонидовича Пастернака, последовавшей 30 мая сего года, на 71-ом году жизни, после тяжелой и продолжительной болезни, и выражает соболезнование семье покойного,

Единственное, появившееся в газетах, — в «Литературной газете» — сообщения о смерти Б. Л. Пастернака.

...Разобрали венки на венки,  
На полчаса погрузнели...  
Как гордимся мы, современники,  
Что он умер в своей постели!

И терзали Шопена лабухи,  
И торжественно шло прощанье...  
Он не мылил петли в Елабуге  
И с ума не сходил в Сучане!

Даже киевские «письмённые»  
На поминки его поспели!..  
Как гордимся мы, современники,  
Что он умер в своей постели!

И не то чтобы с чем-то за сорок,  
Ровно семьдесят — возраст смертный,  
И не просто какой-то пасынок,  
Член Литфонда — усопший смертный!

Ах, осыпались лапы елочьи,  
Отзвенели его метели...  
До чего ж мы гордимся, сволочи,  
Что он умер в своей постели!

«Мело, мело по всей земле  
Во все пределы.  
Свеча горела на столе,  
Свеча горела...»

Нет, никакая не свеча —  
Горела люстра!  
Очки на морде палача  
Сверкали шустро!

А зал зевал, а зал скучал —  
Мели, Емеля,—  
Ведь не в тюрьму, и не в Сучан,  
Не к «высшей мере»!

И не к терновому венцу —  
Колесованьем.  
А как поленом по лицу —  
Голосованьем!

И кто-то, спяну, вопрошал:  
«За что? Кого там?»  
И кто-то жрал, и кто-то ржал  
Над анекдотом!..

Мы не забудем этот смех  
И эту скуку,—  
Мы — поименно — вспомним всех,  
Кто поднял руку!..

«Гул затих. Я вышел на подмости.  
Прислонясь к дверному косяку...»

Вот и смолкли клевета и споры,  
Словно взят у вечности отгул...  
А над гробом встали мародеры  
И несут почетный... ка-ра-ул!

4 декабря 1966  
Переделкино

Счастье было так возможно

Когда собьет меня машина,  
Сержант напишет протокол,  
И представительный мужчина  
Тот протокол положит в стол.

Другой мужчина, ниже чином,  
Взяв у начальства протокол,  
Прочтет его в молчаньи чинном.  
И пододвинет дырокол.

И, продырявив лист по краю,  
Он скажет: «Счастья в мире нет —  
Покойник пел, а я играю,—  
Могли б составить с ним дуэт...!»

### Слава героям

У лошади была грудная жаба,  
Но лошадь, как известно, не свца,—  
И лошадь на парады выезжала  
И маршалу про жабу — ни слова.

А маршал, бедный, мучился от рака,  
Но тоже па парады выезжал,—  
Он мучился от рака, но однако  
Он лошади об этом не сказал...

Нам этот факт великая эпоха  
Воспеть велела в песнях и в стихах,  
Хоть лошадь та давным-давно издохла,  
А маршала сгноили в Соловках.

60-е годы

(В соавторстве с Г. Шпаликовым)

Сегодня идут споры: как это получилось, что преуспевающий литератор Александр Галич уже в возрасте «с чем-то за сорок» вдруг взял да и повернул круто свою судьбу, перейдя от писания немудреных комедий и бодрых песенок к нелегальной по существу поэтической работе? Думается, творческая биография Галича при всем ее драматизме — вдохновляющий пример безошибочного нравственного выбора. «Я выбираю Свободу / Быть просто самим собой», — сказано с исчерпывающей ясностью. К этому выбору вела поэта его совесть, вело его по жизни и русское слово, духу которого Галич стремился быть верным.

Литературный псевдоним поэта произведен им, как сообщает Нина Крейтнер, от имени женщины по имени Галича (см.: Александр Галич: Написано в Ленинграде // Аврора. 1989. № 8. С. 12), но, право же, не случайно нам, слушавшим песни Галича, это имя напоминало название древнего русского города, вызывало ассоциации с пушкинским лицейским учителем — Александром Ивановичем Галичем. Вырваться за узкие рамки повседне-

ности, посмотреть на настоящее из исторического прошлого, вступить в диалог с Пушкиным и Карамзиным, Полежаевым и Аполлоном Григорьевым — такой путь выбрал себе один из ведущих мастеров авторской песни, а как стало ясно впоследствии — и один из крупнейших поэтов 60–70-х годов нашего столетия. Александр Галич доказал на деле, что песенному слову доступна предельная стиховая отточенность:

Здесь всегда по квадрату  
На рассвете полки —  
От Синода к Сенату,  
Как четыре строки!

### *Петербургский романс*

Духовная и поэтическая традиция XIX века тесно переплелась в песенном мире Галича с мотивами и образами Ахматовой, Пастернака, Мандельштама. Галичу уже в шестидесятые годы было понятно, что эти полузапрещенные, не полностью даже опубликованные поэты и есть классики XX века. Их строки и выражения входят в художественный строй песен Галича как символы вечных ценностей, как мера высшей гармонии. Но на почтительное любование, на нетворческую стилизацию Галич не сбивался. Прежде всего потому, что он сумел глубоко лично понять и пережить трагедию великих поэтов, обреченных бесчеловечным режимом на гибель или на публичное унижение и поношение.

Об этом — входящие в цикл «Литераторские мостки» песни «Снова август (памяти А. А. Ахматовой)», «Возвращение на Итаку (памяти О. Э. Мандельштама)», «Памяти Б. Л. Пастернака». Вчитаемся в текст последней из них. Это произведение исполнено глубочайшего сарказма, выраженного не только ходом мысли, но и всем словесно-стиховым строем. Как контрастирует ритмика пастернаковской «Зимней ночи» с сатирической картиной позорного писательского собрания 1958 года! И именно этим контрастом создается динамика. Перед нами пример энергичной «интертекстуальности», плодотворного наложения нового текста на уже известный и эстетически авторитетный. Слова «Мы поименно вспомним всех, / Кто поднял руку!» прочно вошли в общественное сознание как поэтическая формула веры в справедливость, как афористичное напоминание о неотвратимой ответственности интеллигента и литератора за свои поступки. Точно так же гневная ренлика «А над гробом встали мародеры» ритмически «намагничена» пятистопным хореем пастернаковского «Гамлёта». Это делает ее крепкой и прочной, актуально звучащей и в сегод-

пишней юбилейной ситуации, когда почитателями Пастернака пытаются изобразить себя люди, абсолютно далекие от мира поэта.

Главный поэтический прием Галича — ирония. Авторское отношение к жизни в его песнях, как правило, выражается не прямо, а через утверждения, противоположные тому, что думает и чувствует поэт:

Промолчи — цопадешь в богачи!  
Промолчи, промолчи, промолчи!

*Старательский вальсок*

Для чего это делается? Чтобы всколыхнуть нашу совесть, повернуть душу, как говорится в одной пьесе, зрачками внутрь. Понять песни Галича — это значит прежде всего почувствовать ту боль, которая сквозит в ироническом слове. Прочитаем заключительные строки той же песни:

Пусть другие кричат от отчаянья,  
От обиды, от боли, от голода!  
Мы-то знаем — доходней молчание,  
Потому что молчание — золото!

Вот как просто попасть в богачи,  
Вот как просто попасть в первачи,  
Вот как просто попасть — в палачи:  
Промолчи, промолчи, промолчи!

Ирония здесь указывает нелегкий путь к правде, к обретению нравственной цельности. Указывает не декларативным, а эмоционально действенным способом. Галич, как и другие близкие ему мастера авторской песни: Окуджава, Ким, Высоцкий, — не приемлет заемных, невыстраданных самостоятельно истин, какими авторитетными бы они ни были. Отсюда — характерное для него полемическое переименование традиционных сентенций и афоризмов, создание на их основе собственных, индивидуальных лирических формул. «И нечего притворяться — мы ведаем, что творим!» — говорится в «Балладе о чистых руках», а в песне «Без названия» автор вступает в дерзкий спор с евангельской проповедью:

Вот пришли и ко мне седины,  
Распеваешь ворохья!  
«Не судите, да не судимы...» —  
Заклинает меня вранье.

Спор, естественно, не с Христом, а с демагогами, спекулирующими гуманистической фразеологией и умело уходящими от

личной ответственности за содеянное. Ирония Галича зорко высматривает малейший обман, тончайшие уловки лицемерия. «Жить не по лжи» — этот сформулированный А. И. Солженицыным принцип у Галича претворен в самом отношении к слову — и чужому, и своему.

Сложной и диалектичной иронией проникнуты песни Галича, написанные от имени сатирических персонажей: беспутного мужа «товарища Парамоновой» («Красный треугольник»), молодого карьериста, предавшего свою возлюбленную ради выгодного брака с дочерью большого начальника и «пайков цековских» («Городской романс»), Клима Петровича Коломийцева — героя целого цикла саркастических песен. Галич здесь предстает продолжателем некрасовской традиции — и первым заметил это К. И. Чуковский. По свидетельству М. Петровского, Корней Иванович, ознакомившись с изданной за рубежом книгой Галича, заметил: «Сильные, фольклорные, классические по своей конструкции стихи. Как прекрасно знает поэт своих героев — людей из низовых слоев — и с какой естественностью перевоплощается в них! Напрасно его творчество связывают с какими-то новейшими течениями западной поэзии — его истоки отечественные, русские, некрасовские:

Частью по глупой честности,  
Частью по простоте,  
Пропадаю в неизвестности,  
Пресмыкаюсь в нищете...»

(Воспоминания о Корнее Чуковском. Изд. второе. М., 1983. С. 382).

И действительно, с приведенной Чуковским цитатой из некрасовского «Филантропа» явно перекликается ритмически галичевская «Гусарская песня»:

По рисунку палешанина  
Кто-то выткал на ковре  
Александра Полежаева  
В черной бурке на коне.  
.  
И не спеть, не выпить водочки,  
Не держать в руке бокал!  
Едут трое, сам в середочке,  
Два жандарма по бокам.

А «Фарс-гиньоль», посвященный теме безысходной нищеты наших сограждан, перекликается с «Филантропом» и сюжетно.

Перевоплощаясь в персонажа, автор не приукрашивает его речь, не очищает ее от грубых элементов. Но без этой краски (используемой, заметим, с чувством меры и эстетического такта),

песни Галича (и авторская песня в целом) не достигли бы той правдивости и психологической достоверности, которой, увы, так недоставало в застойные годы нашей тщательно отредактированной «печатной» поэзии, куда голос живой повседневной жизни проникал с трудом и в искаженном виде.

Иронично-требовательное слово Галича помогло многим его современникам найти свое место в жизни, избежать соблазна суеты и алчности, понять лживость громогласных лозунгов и общаний нашего века — и при этом сохранить и укрепить веру в истинные и нетленные ценности. Сегодня настал звездный час тех, кто в нелегкие годы писал «непроходимые» романы и поэмы, мужественно довольствуясь тем, что «Эрика» берет «четыре копии», слагал «бесперспективные» песни, утешаясь тем, что «есть магнитофон системы „Яуза“». Сбылось пророчество Галича:

Бродит Кривда с полосы на полосу,  
Делится с соседской Кривдой опытом,  
Но гремит напетое вполголоса,  
Но гудит прочитанное шепотом.

Есть, стоит картина на подрамнике!  
Есть, отстукано четыре копии!  
Есть магнитофон системы «Яуза»!  
И этого достаточно!

*Мы не хуже Горация*

Слово Галича сегодня с прежней силой противостоит Кривде, уводит нас от праздной болтовни, от самодовольства и апатии, вновь и вновь испытывая наш ум и совесть:

И все так же, не проща,  
Век наш пробует нас —  
Можешь выйти на площадь,  
Смеешь выйти на площадь,  
Можешь выйти на площадь,  
Смеешь выйти на площадь  
В тот назначенный час?!

Публикацию подготовил А. Е. Крылов ©  
Филологический комментарий Вл. Новикова ©

# Культура языка и языковая политика

В. П. Григорьев,  
доктор филологических наук

Эти заметки написаны в мае 1989 г., т. е. задолго до сентябрьского Пленума ЦК КПСС. Высказанные в них соображения, как представляется, сохраняют свою актуальность после завершения очередной сессии Верховного Совета СССР, где среди других также обсуждались вопросы языковой политики. Связь языка и культуры — одна из важнейших проблем накануне следующего, 1991 года — «года русской культуры», как это предусмотрено программой ООН и ЮНЕСКО «Десятилетие развития культуры». Тем более важно вернуться к обсуждению давнего вопроса о взаимодействии культуры языка и языковой политики. Ведь в последние десятилетия и та, и другая, если применить к ним выражение А. И. Герцена, стали принадлежать у нас не столько истории, сколько географии. Необходимо восстановить их действенный, лингвистический и общественный статус. Размышляя над этим кругом проблем, автор исходит из трех взаимосвязанных постулатов. Во-первых, он настаивает на отсутствии принципиальных отличий между подлинно патриотическими и интернационалистскими убеждениями. Во-вторых, ему представляется, что глубина и обоснованность языковой политики должна проверяться самочувствием любой отдельно взятой «языковой личности». В-третьих, он убежден, что основной признак интеллигентности в культуре многообразных дискуссий, которыми изобилуют годы перестройки, — это органическая потребность в оппонентах.



В течение последних пяти-шести десятилетий культура языка в нашей стране систематически размышалась. С одной стороны, она разделила судьбу вербализованных и невербализованных национальных культур, проблемы которых только обнажились в восьмидесятые годы, но по-разному остро заявили о себе еще в конце 20-х. С другой — как область забот лингвистики и теоретической русистики — культура языка давно уже в

основном была практически сведена к культуре речи, т. е. к выработке и пропаганде набора предписаний типа «пиши и говори правильно», при методологическом господстве нормативизма. Поскольку упор делался не на творческом развитии культуры и языка, а на их догматически дозированном потреблении и применении, почти полностью исчезло понятие «языковое строительство», популярное в 20-е годы. Пожалуй, лишь самой очевидной необходимостью были обязаны своим развитием в эти десятилетия работы по проблемам орфографии, терминологии, практической транскрипции.

Одним из парадоксов 30–80-х годов было то, что оппозиция «стихийное / сознательное» применительно к языковой форме движения материи подвергалась идеологическому торможению в обоих своих противочленах. Этот парадокс становится понятным в свете телеологии единственного «кратчайшего курса» к светлому будущему, исключавшего альтернативность, самодвижение и диалог из сферы объективной и субъективной диалектики. И та и другая оказывались в своеобразном «андеграунде». Никто, кажется, особенно не защищал «канцелярит». Но мало-помалу он приобрел (еще с 20-х годов) угрожающие масштабы попугайского «полуязычия» если не оруэлловской «новоречи» («новояза»). Вместе с тем безоглядно, хотя и безуспешно, осуждалось жаргонотворчество. Языкотворцы вообще (за исключением Вл. Маяковского) представлялись подозрительными, но даже жаргонные «попки» в сравнении с чиновными выглядели опасными «обновленцами». Указывать на глубинное торжество тех и других и в шестидесятые–восьмидесятые годы было равнозначно подрыву основ.

Постепенно и незаметно мы привыкли к бесппроблемно-барабанному учению о «ста тридцати равноправных» языках в нашей стране, десятилетиями закрывая глаза на реальную языковую деградацию не только отдельных, в том числе руководящих, личностей любой национальности, но и целых национальных культур. Не только малых народов Севера, но и русского народа. Дегradировали и язык прессы, и язык учебников, этика языка в целом. Сейчас газеты признают: «В Белоруссии сложилась непростая языковая ситуация». Но ее последовательно «сложили» те, кто избивал белорусскую интеллигенцию под флагом разоблачения «националистов». Неправомерно переносить конкретную политическую вину за бесстыдную, малограмотную и безответственную стратегию и тактику в национальном вопросе на пекущую безответственную стихию. Будто бы языковая ситуация «складывается» так же, как происходит землетрясение. Наука не вправе

довольствоваться публицистическими штампами. Надо четко осознать и дать ответ, кто именно и каким образом создавал, «скалывал» подобные ситуации.

Суть дела маскируется тем обстоятельством, что деградация не исчерпывает картину языковых процессов. Всегда можно указать и на множество фактов расцвета: творчество выдающихся писателей, слово *спутник*, вошедшее «во все языки», или пропагандные достижения МАПРЯЛ как бы непосредственно продолжали реальные завоевания ленинской национальной политики, создание письменности для ряда языков СССР, первоначальные успехи культурной революции 20-х годов. Однако это «продолжение» несколько десятилетий было лишено важнейшей характеристики полноценного языкового и культурного развития — беспрпятственного диалога языков и культур. И сегодняшний плюрализм еще не ведет автоматически к диалогу — явлению более широкому и глубокому, предполагающему плюрализм, но и в пике гласности требующему, кроме того, безотказной «слышимости» как непрямого условия диалога.

По существу приходится признать, что примерно с начала 30-х годов мы были лишены продуманной и перспективной, научно обоснованной языковой политики. 1931-м годом отмечен выход в свет едва ли не последних глубоких работ Е. Д. Поливанова и Л. П. Якубинского, обсуждавших ее проблемы. (Чуть дольше этой темы касался В. И. Абаев.) Сначала «марризм», а с 1950 г. «сталинское учение о языке», широковещательно претендуя на теорию языковой политики, практически знаменовали полный застой в постановке и решении ее проблем, вульгаризировали само это понятие. В дискуссии лета 1950 г., пожалуй, только Л. А. Булаховский попытался обратить на него внимание, но «в свете» сталинских установок — безрезультатно. Дискредитация после XX съезда КПСС культовых работ о «марксизме и вопросах языкознания» не сопровождалась развернутым пересмотром и критикой содержащихся в них суррогатов языковой политики. Ее подлинные основы, важнейшие принципы оставались и в 60-е, и в последующие годы предметом исследования лишь отдельных языковедов-энтузиастов, преимущественно в связи с интерлингвистическими проблемами. Но и эти попытки восстановить диалог относительно ряда лингвополитических стереотипов были подвргнуты монополюльно-аппаратному апартейду.

Имперскому мышлению Сталина, по-видимому, вполне отвечала идея русскоязычного мессианизма. В 40-е годы, вне прямой связи с идеологией панславизма в царской России и за ее пределами, эта идея наглядно воплотилась в авторитарной «естест-

венно-исторической» формуле журналиста Д. Заславского: «Французский язык был мировым языком феодализма, английский — мировой язык капитализма, русский — станет мировым языком социализма». Формуле этой нельзя отказать в псевдо-патриотической броскости, характерной для публицистики времен борьбы с «космополитами». Провозглашенная вскоре «теория зональных языков» мирно уживалась с укоренившимся мессианством. Во всяком случае официально формула не была отвергнута, а некоторые ее отзвуки обнаруживаются еще и сегодня в пропагандистских тезисах о превосходстве русского языка над английским, и даже в академических изданиях.

Неисчислимые бедственные последствия экстенсивного бытования этой формулы для нашей культурной и социальной жизни пока не проанализированы. Можно сказать, что соответствующие связи еще не попали в светлое поле научного и общественного сознания. Насколько известно, ни разу прямо не отраженная в каком-либо ответственном партийно-государственном документе, эта формула тем не менее до самого последнего времени так или иначе подсказывала извращенную практику нашего языкового развития и закономерно предопределяла сегодняшний кризис. «Неформальная» языковая политика, как бы благословляя миграционный произвол, приводила и к моральной двусмысленности статуса русского языка как средства межнационального общения. Извращенная ведомственная тактика в свою очередь вступала в извращенную же «обратную связь» с идеологией «великодержавного нарциссизма», очевидно, вполне приемлемого для прежнего руководства.

Уровни кризисности нынешней языковой ситуации в нашей стране различны по регионам. Катастрофическая угроза полного исчезновения этнических единиц актуальна для ряда малых народов (эвенки, ненцы, ханты и манси и др.; слово «малых» мы употребляем в смысле «немногочисленных»). Напрашивающаяся аналогия с тревогой, характерной для биологов, озабоченных сохранением генофонда и многообразия растительных и животных видов, наглядна, но недостаточна и неточна. Лингвистическая тревога имеет отчетливо социальный и человечески-личностный характер. Нашему отвращению перед экологическим или ядерным «омницидом» и геополитическим геноцидом пока не соответствуют меры по предотвращению «этнотицида»: народность, лишняя или лишаемая своего родного, «этнического» языка, количественно сохраняется, но качественно и личностно меняется, будучи полностью ассимилированной другим этносом. Тем более, если ее язык становится «мертвым», который подталкивают и

«смерти» некие далекие и безымянные идеологи вкупе с ретивыми местными функционерами, вопреки желанию живых посетителей этого языка. Здесь необходимы неотложные и чрезвычайные, но чуткие меры социально-культурной помощи и защиты от шовинистического и ведомственного бесстыдства наших великодержавных держиморд-техпократов. Но необходим и общий идеологический ликбез, чтобы, встречая у В. И. Ленина слова «истинно русский человек», и журналист-молодогвардеец, и любой читатель знал, что это обычное когда-то «браннонасмешливое» применение пафосного выражения растленной черносотенной среды, с которой, кстати, воевал и великий русский и польский ученый — «языковой политик» И. А. Бодуэн де Куртене.

Вероятно, не каждый представитель малых народов или так называемых «дисперсных групп» согласится с трагическим смыслом строк Р. Гамзатова:

И если завтра мой язык исчезнет,  
То я хочу сегодня умереть.

И все-таки не считаться с подобным самосознанием языковая политика не вправе. Проблема заключается в том, чтобы обеспечить таким народам возможность двуязычия, полноценного в функциональном отношении, при сохранении и обогащении всех культурных горизонтов родного языка.

Такая политика наибольшего благоприятствования для языков малых народов может послужить моделью при разработке общесоюзных принципов языковой политики, первым из которых в современных условиях следует признать принцип ненасильственной языковой терапии. Его применение позволит учесть специфику выхода из кризисных ситуаций в Белоруссии, Прибалтике, Молдавии, Казахстане, Башкирии, Карелии, Каракалпакии, Якутии, Удмуртии и других регионах. Но этот принцип должен быть конкретизирован другими принципами, обеспечивающими беспрепятственное развитие в стране необходимого ей официального уровня двуязычия и личностного полноязычия.

Может быть, одной из самых ответственных в этой связи предстает ситуация с особенно специфическим и застарелым драматизмом, которая неблагоприятно развивается у нас в отношении русского языка. Обратной стороной упоминавшегося мессианизма как прагматической замены глубоко продуманной языковой политики в нашей стране оказались, во-первых, наша странная терпимость к тому, что за рубежом всех советских людей без разбора называют русскими, а во-вторых, — массовое языковое люмпенство и собственно русские полуязычие и полу-

культура. Русский народ потерпел от всех изводов сталинизма не меньше, чем любой другой. Но его потери еще слабо осмыслены нами как потери собственно национальные.

В оскорбляющем сегодня наше достоинство образе «хомо советикус», кроме идеологической и пропагандной карикатуры, необходимо самокритично рассмотреть и реальные черты как общего стилистического вырождения отдельных социальных страт, так и именно русского языкового и культурного убожества — от конкретных «архаровцев» до конкретных же «номенклатурщиков», преуспевших в насаждении, исповедовании и культивировании матерщины или в оболванивании целых поколений «социалистической топонимией» в названиях городов, предприятий, учреждений и улиц. В структуре любого современного языка как явления культуры, а не бескультурия представлена и память о его содержательном прошлом, включающем не только высочайшие взлеты, но и позорные падения отдельных носителей языка и их групп. Поэтому, если, например, из памяти современных «охотнорядцев», смакующих «Протоколы сионских мудрецов», выпадает смысл конкретных высказываний и всей деятельности В. Г. Короленко и А. П. Чехова, то именно языковая политика может и должна однозначно отвергнуть претензии подобной «хамяти» и ее высоких покровителей (или «невмешателей») на место в Культуре.

Сильная социальная политика предполагает не только сильную языковую, но и сильную стилевую политику. Силевые предписания «застойщиков» или «заединщиков» и разного рода стилевые стереотипы все еще тормозят развитие собственно политической культуры нового мышления, которое невозможно без обновления языка, без языкового творчества. Недооценивая изучение и пропаганду творческих механизмов языка, мирясь с по-прежнему вырожденным (при отдельных исключениях) русским языком ряда наших высокотиражных газет и журналов, мы тем самым благословляем не только аппаратное «полуязычие» и родственную ему «фасадную культуру», но и застарелые стереотипы мысли. Чтобы понять процессы и задачи, связанные с «языком перестройки», надо, порывая как с «одноклеточным мышлением», так и с «языком застоя», извлечь из них все самокритические уроки.

«Языковая политика» — понятие более широкое, чем «национальная политика»: новое мышление предполагает переход на более высокий уровень самосознания и индивидуального стиля каждого из нас как «языковых личностей» независимо от нашей специфически конкретной национальной и профессиональной при-

надлежности. Невозможно удовлетвориться сегодня формулой «Московских новостей»: «Язык перестройки — правда», так как этот метафорический афоризм обходит вопрос о качествах того реального языка, на котором мы эту правду собираемся выражать и способны выразить. Правду, как известно, вынужденно преподносили обществу и на «эзоповом языке», а сам по себе великолепный стилистический блеск языка М. Е. Салтыкова-Щедрина, братьев ли Стругацких всегда сопряжен и с памятью о некоем цензурном «лысенковании» литературы и культуры. Я стою за свободу метафор и за свободную подписку на «Московские новости», но, по-моему, всем нам недостает понимания сегодняшней роли Языка. Даже после сентябрьского (1989) Пленума ЦК КПСС.

Конечно, реализуют ту или иную языковую и стилевую политику с той или иной степенью самосознания и в той или иной «этосфере» самые различные социальные институты, собственно политические структуры, аппарат государственной власти. Но разработка основ этой политики — прежде всего дело лингвистов. Чтобы стать научно обоснованной, внутренне непротиворечивой политикой с высокой разрешающей способностью и обеспеченной результативностью, она должна опираться на науку о языке как составную часть культуры общества, его, общества, необходимой, по В. И. Ленину, «культурной» работы.

Сегодня нашему многонациональному государству на его пути к государству правовому необходимы две законодательные инициативы. Во-первых, декларация об общих основах языковой политики нашей страны, во-вторых — в консенсусе и взаимной корректировке с уже принятыми законами в союзных республиках — закон о статусе русского языка в рамках Российской Федерации. В этих взаимосвязанных документах должны быть изложены и аргументированы принципиальные положения, касающиеся (1) межнационального общения внутри СССР на официальном уровне, (2) обеспечения необходимого нашим гражданам полноязычия и двуязычия, (3) понятия государственного языка и его применения в современных условиях, (4) интерлингвистических перспектив русского языка, вспомогательных международных языков, «клуба мировых языков» и единого языка будущего, — все это в связи с общей проблемой соотношения между языком и культурой.

# По страницам Словаря ударений

Ф. Л. Агеенко,  
консультант отдела дикторов ЦТ по вопросам  
ударения, произношения и стилистики русского языка

Идея создания словаря, который регламентировал бы ударение в словах и произношение дикторов, возникла много лет назад. Она принадлежала еще Д. Н. Ушакову и К. И. Былинскому, консультантам отдела дикторов Центрального вещания и была претворена в жизнь в 50-е годы: под редакцией профессора Былинского радиокомитет дважды издал словарь для дикторов. От издания к изданию шло накопление материала и живой практики, учитывались рекомендации новейших теоретических работ по акцентологии и орфоэпии. И вот перед нами современный «Словарь ударений для работников радио и телевидения» под редакцией Д. Э. Розенталя, который содержит около 75 тысяч слов, выходил шесть раз, первый — в 1960-м году, последний — в 1985-м.

Несмотря на то, что Словарь адресован в первую очередь творческим работникам телевидения и радио — дикторам, комментаторам, обозревателям, корреспондентам, — он, безусловно, полезен всем, кто интересуется вопросами нормативного произношения и ударения. Словарь этот — единственный, где даются рекомендации безвариантного литературного произношения и ударения. Почему? Такова специфика работы у микрофона. Разнобой в эфире недопустим! А если он порой случается — каждое отступление от установившихся произносительных норм отвлекает слушателей и зрителей от содержания передачи, вызывает их резкие протесты. И хотя в самом языке варианты существуют, Словарь ударений должен сделать выбор в пользу одного из них, в отличие, например, от «Орфоэпического словаря русского языка», где даются варианты: *петля́* и *пéтля*, *фольга́* и *доп. устар.* *фóльга*, *ржа́веть* и *ржаве́ть*, *обморбже́ние* и *обмороже́ние*, *и́наче* и *доп. и́наче*, *те́фтели* и *тефте́ли*, *фре́з* и *доп. устар.* *фре́за* и т. д.

Конечно, читатели вправе спросить, какими же критериями пользовались авторы, выбирая нужный вариант. Это — наибольшая употребительность и соответствие системе языка разговорной практике наших дней, традиционность. И поэтому в словаре вы найдете: *петля́, фольга́, ржаве́ть, обмороже́ние, ина́че, тефте́ди, фрезá* — то есть налицо победа более разговорных вариантов. В самом деле, кто говорит сейчас *фбляга* или *тефтели*!

Другая особенность Словаря ударений — только в нем читатели найдут целый раздел имен собственных: фамилии политических и общественных деятелей, работников культуры, науки, техники и т. п., названия географических объектов, политических партий, профсоюзных организаций, средств массовой информации, произведений литературы и искусства с проставленными ударениями и произносительными пометами. И если в речевой практике все-таки встречаются варианты: *Обская губа — Обска́я, бухта Тикси — Тикси́, Му́рманск — Мурма́нск, Кондбо́га — Кбндпо́га, Черепове́ц — Черёпове́ц*, то в Словаре предпочтение отдается традиционным формам: *Обская губа, бухта Ти́кси, Му́рманск, Кондбо́га, Черепове́ц*.

У работников телевидения и радио возникает немало вопросов в связи с ударениями в именах собственных. Тут неизбежно сталкиваются две тенденции. С одной стороны, есть традиционные образцы произношения и ударения, исторически сложившиеся в русской языковой практике, а с другой — укрепление и усиление международных связей, новаторство средств массовой информации, нормализаторская работа в области языка порождают вторую сильную тенденцию: стремление произносить иноязычные имена собственные так, как их произносят в языке-источнике. К примеру, при выборе варианта ударения в зарубежных географических названиях часто побеждает ударение, свойственное оригиналу. Именно поэтому Словарь избирает формы *Ка́рас, Бо́стон, Ка́нзас, Пе́ру, Бамако́*, принимая во внимание то, что эти формы получили распространение в практике телевидения и радио, и именно так приведены в энциклопедиях.

Но как быть, если нормы ударения языка-источника не соответствуют тенденциям развития ударения в русском языке? На этот случай в Словаре избрана традиционная форма: *Долбе́с Иба́ррури, Карме́н, Шекспи́р* и др., хотя оригиналу соответствуют другие ударения: *Долбе́с Иба́ррури, Ка́рмен, Ше́йкспир*. Не соответствует ударению оригинала вариант *Сене́ка*, вошедший в широкое употребление (по-латыни звучит *Сене́ка*). С традиционным ударением дается в Словаре и фамилия шведского естествоиспытателя *Карла Линне́я* (вероятно, языком-посредником был французский).

Однако есть случаи, когда Словарь все же приводит варианты ударений. Почему это бывает необходимо? Дело в том, что на радио и телевидении много фондовых записей постановок и литературных композиций, в которых ведущие актеры тех лет произносят имена собственные в соответствии с традицией, хотя сейчас ударение в них изменилось, стало, как в языке-источнике. Тогда-то, чтобы избежать разнобоя, дикторы применительно к этим теле- и радиопередачам исполняют те же традиционные формы. В Словаре вы прочтете: *Нью́тон Исаа́к* (традиц. *Нью́то́н*), *Шекспи́р Уи́льям* (традиц. *Шекспи́р Ви́льям*), *Рембрандт* [рэ] (традиц. *Рембра́ндт*), *Шо́у Бе́рнард* (традиц. *Шо́у Берна́рд*). Для этих слов трудно установить единую норму во всех случаях и ситуациях общения с телезритателями и радиослушателями. В двояком написании дается также имя датского писателя Андерсена — более близкое к языку подлинника *Андерсен Ханс Кристиа́н* и традиционная *Андерсен Ганс Христиа́н*. В двоякой форме приведена в словаре фамилия известного американского пианиста — *Ва́н Кля́йберн* (*Кля́йберн Ха́рви Ла́ван*). Дело в том, что правильным с точки зрения английского языка является вариант *Кля́йберн Ха́рви Ла́ван*, и (особенно в последнее время) он часто встречается в прессе. Но сам пианист выразил желание, чтобы советские люди произносили его фамилию так, как привыкли произносить во время его пребывания в нашей стране — *Ва́н Кля́йберн*. Так что оба полноправных варианта имеют равный вес в словаре. В двух вариантах приведено название романа Диккенса: «*Да́вид Ко́пперфилд*» (традиц. «*Дави́д Копперфи́льд*»). Выступающие часто задают вопрос: с каким ударением произносить фамилию Пикассо, французского художника, испанца по происхождению: *Пикассо́* или *Пика́ссо*? Словарь решает этот вопрос в пользу французского варианта *Пикассо́*: художник был гражданином Франции и есть все основания произносить эту фамилию так, как ее произносят французы. Но вместе с тем не исключен и вариант *Пика́ссо*, характерный для Испании, где тоже гордятся своим великим земляком.

Можно привести много примеров географических названий, которые мы произносим по-русски совсем не так, как это принято в самих странах. Ведь мы говорим *Анкара́*, *Га́йти*, *Гондура́с*, *Пана́ма*, *Хироси́ма*, *Белгра́д*, *Вашингто́н*. Но в турецком языке — *Анкара*, в испанском — *Аити́*, *Онду́рас*, *Панамá*, в японском — *Хирбсима*, в сербско-хорватском — *Београд*, в английском — *Убшингтон*. Таким образом, из двух сосуществующих вариантов рекомендованы традиционные.

Выступающие у микрофона часто задают себе вопрос: склонять или не склонять? Если да, то как?

В Словаре найдутся ответы на эти вопросы. Последовательно представлена склоняемость антропонимов, оканчивающихся на -а неударное. Правило таково: мужские и женские имена и фамилии на -а, -я неударные необходимо склонять, за исключением финских и — частично — грузинских и японских. Например, песни *Виктора Хары* (*Виктор Хара*), новая роль *Джейн Фонды* (*Джейн Фонда*), по выступление *Мáуно Пёккала* (финский политический деятель *Мáуно Пёккала*), стихи *Вáжа Пшавёлы* (*Вáжа Пшавёла*, фамилия склоняется, а имя — нет). Японские антропонимы в последнее время тоже активно включаются в сферу склонения: встреча с государственным деятелем *Такэситой* (*Такэсита*).

Фамилии на -ия приводятся в Словаре в склоняемом варианте: *Данéлия Георгий* — *Данéлии Георгия*, *Чкб́ния Ламара* — *Чкб́нии Ламаре*. Однако в передачах и в печати подобные фамилии иногда не склоняют. А финские фамилии на -ия не рекомендуются склонять: встреча с финским журналистом *Эйкия Армасом*.

Представляют интерес с точки зрения склонения фамилии на -а ударное. Здесь имеет значение, к какой языковой группе относится та или иная фамилия. Если речь идет о славянских и восточных фамилиях, то их склоняют: *Сковоро́да* — *Сковоро́ды*, *Потебня́* — *Потебни́*, монгольский космонавт *Гуррагча́* — *Гуррагчи́*. Что касается французских фамилий, то здесь существует давнишняя традиция несклонения фамилий на ударное -а: *Франсуа́ Тальма́*, *Амбруа́з Тома́*. К сожалению, некоторые выступающие в телепередачах отступают от этого правила. Например, иногда склоняют фамилию известного французского футболиста *Тигана́*: *встреча с Тиганб́й*, *с участием Тиганб́й*, нарушая традицию несклонения в русском языке французских собственных имен, оканчивающихся на -а ударное. В соответствии с правилом, не следует склонять также итальянские фамилии на -а ударное: *Рафаэ́лла Карра́* — *Рафаэ́ллы Карра́*. Колеблются в склонении индийские, иранские и другие имена и фамилии, относящиеся к Юго-Восточной Азии и языкам африканских стран.

Интересно с точки зрения склонения представлены в Словаре чешские и польские фамилии, оканчивающиеся на -ок, -ек, -ец. В русском языке их рекомендуется склонять без выпадения гласной в косвенных падежах: *Га́шек* — *Га́шека*, *Ча́пек* — *Ча́пека*, *Гавра́нек* — *Гавра́нека*, хотя в языке-источнике их произносят с выпадением гласной: *Га́шка*, *Ча́пка*, *Гавра́нка*. Для белорусских фамилий одинаково возможно склонение с сохранением беглой

гласной и без нее: *Мазурѳк — Мазурѳка, Лученѳк — Лученѳк, Ковалѳнок — Ковалѳнка*.

В Словаре решаются также вопросы склонения географических названий. Например, наглядно представлено словоизменение славянских наименований типа *Бѳла-Подлѳска* (город в Польше), *Банска-Бѳстрица* (город в Чехословакии), *Зелѳна-Гѳра* (город в Польше). В этих названиях склоняется второй компонент: *приехала из Бѳла-Подлѳски; живем в Банска-Бѳстрице, фестиваль в Зелѳна-Гѳре*. Правда, в последнем случае существует равноправный вариант *в Зелѳной Гѳре*, поэтому в Словаре он тоже дан в силу его распространенности.

И последнее: иногда рекомендации «Словаря ударений для работников радио и телевидения» не совпадают с указаниями других источников по поводу тех или иных названий. Особенно показателен будет здесь пример с названием государства Шри-Ланка. Если вы раскроете Советский Энциклопедический Словарь, Географический Энциклопедический Словарь или Словарь географических названий зарубежных стран, то найдете название Шри-Ланка с ударением на первом слоге — *Шри-Лѳнка*. Однако истине это не соответствует. Правильное ударение — *Шри-Ланѳка* — письменно было подтверждено Посольством Шри-Ланки в СССР. Авторы Словаря прослушали многочисленные записи выступлений деятелей этого государства, опросили специалистов по этому региону МИД СССР. Работа была проделана огромная, и в Словарь ударений вошло более соответствующее истинному произношению ударение — *Шри-Ланѳка*.

И еще один пример, когда рекомендации официальных источников не соответствуют местному ударению. Советский Энциклопедический Словарь и Словарь географических названий СССР называют столицу Калмыцкой АССР *Элиста*, тогда как сами калмыки произносят это название с ударением на последнем слоге — *Элистѳ*. И Словарь ударений приводит как единственно правильный именно этот вариант.

Итак, если вы сомневаетесь в правильности ударения, произношения или словоизменения имен собственных, «Словарь ударений для работников радио и телевидения» поможет вам.

---

ШКОЛА КРАСНОРЕЧИЯ

# «Хорошее слово — половина счастья»

В. И. Аннушкин,  
кандидат филологических наук



се знают, что в общении друг с другом — дома, в семье, на работе, в школе — существуют определенные правила речевого поведения. Однако на практике оказывается, что люди часто не знают, что и как сказать, чтобы не было обидно собеседнику, как поддержать его, помочь, ободрить. Это происходит, возможно, потому, что никто этому не учит: литературы, в которой можно было бы найти советы, рекомендации, как вести беседу, крайне мало.

С точки зрения речевого воспитания наибольший интерес представляют диалоги — семейный, деловой. Но, к сожалению, о том, какой должна быть речь, например, между старшими и младшими в семье, в быту, на службе — между руководителем и подчиненными, между друзьями и знакомыми и др., исследований почти нет. То же можно сказать о бытовых диалогах в широком смысле, включая разговоры на улице между незнакомыми людьми, в транспорте, в магазине, в разных сферах обслуживания — в парикмахерской, прачечной и т. д. Умению вести диалог, беседу друг с другом надо учить и учиться. Это осознают теперь не только специалисты-филологи, но и все, кто заинтересован в повышении культуры общения. «Практически нет учебников правильной разговорной речи в быту, не учат этому в школах, а если и говорят, то вскользь и общими словами», — пишет В. И. Савчук из Ленинграда.

Представители старшего поколения иногда сетуют на то, что раньше общение людей было легче и проще, потому что многие бытовые и житейские ситуации регулировались устоявшимися традициями. Современный же человек нередко не знает, как ор-

ганизовать семейный вечер, прием гостей, как и что говорить в разных случаях жизни. Вот, например, свадьба. Что нужно сделать, чтобы она запомнилась и не была скучной. Ни оглушительная музыка, ни красивые одежды не создадут праздника, если на нем не будет царствовать Слово: доброе, напутствующее, любовное, непременно веселое, с юмором. Поэтому так много просьб относительно обучения этике поведения, правилам хорошего тона, а хороший тон — это прежде всего хорошая речь.

Традиционно существуют общие правила ведения и построения речи. Они создаются практикой людей и передаются из поколения в поколение. Интересно, что их можно обнаружить в фольклорных материалах, в частности в пословицах и поговорках. Хотя эти правила просты на первый взгляд, поведение взрослого человека во многом зависит от того, как он пользуется ими. Нарушение условий речи может привести к разным неприятностям, не зря существуют предупреждения: «Язык мой — враг мой», «Все беды человека от его языка», как и напутствия: «Хорошее слово — половина счастья».

Любой диалог возможен при условии — быть вежливыми друг с другом. Фольклорные правила напоминают: «От приятных слов язык не отсохнет», «Одно хорошее слово лучше тысячи слов ругани». Невежливость бывает равная — от откровенной грубости до внешне благожелательного тона, скрывающего полное пренебрежение к собеседнику (вспомним встречу Максима Максимыча и Печорина, их диалог: см. статью И. Н. Горелова «На что обиделся Максим Максимыч?» — Русская речь. 1985. № 4).

В основе речевых отношений должны быть доброжелательность и умение слушать: «Речь красна слушанием». Очень важно в общении услышать друг друга: «Язык — один, уха — два, раз скажи — два раза послушай». Внимание к собеседнику, к аудитории необходимы также для того, чтобы начать говорить. Выражаясь парадоксально, речь начинается со слушания, понимания обстановки, правильной оценки ситуации. Говорящему необходимо всегда помнить о том, что он «ловится» слушающим на ошибках. И об этом свидетельствует народная мудрость: «Отвечает, когда не спрашивают»; «Я про Фому, а он — про Ерему»; «Вережка хороша, когда длинна; речь — когда коротка» (о многословии); «Хорошее слово хорошо один раз» (повторение одного и того же).

Можно ли этим правилам обучать, например, в школе? Экспериментальный опыт преподавания риторики в школе показал, что, анализируя пословицы о речи, в частности на уроках русского языка и литературы, можно составить определенные прави-

ла речевого поведения школьника. Такие занятия проводились и со студентами МГИМО, а также с руководителями предприятий в Академии народного хозяйства при Совете Министров СССР; на основе какого-либо правила диалога можно предложить участникам занятий конкретную ситуацию, вспомнить диалоги из их опыта.

В свое время были специальные риторики семейного и интимного диалога. Классическим примером этого является книга римского оратора и публициста I в. н. э. Публия Назона Овидия «Искусство любить», советы которого мужчинам и женщинам (как завоевать и как сохранить любовь) касаются, в основном, речевого поведения. Вот советы к беседе при знакомстве: «Тогда постарайся завести с ней разговор. Сначала говори о вещах различных...» и т. д.

Два самых значительных классика мировой и отечественной риторики Аристотель и М. В. Ломоносов начинали в своих рассуждениях с «философии любви», а затем предлагали способы пробуждения этого чувства в «аудитории» (собеседнике). Определяя понятие дружбы и любви, Аристотель пишет: «Пусть любить значит желать кому-нибудь того, что считаешь благом ради него, а не ради себя, и стараться по мере сил доставлять ему эти блага» (Аристотель. Риторика // Античные риторики. М., 1979. С. 78–79). Так же строит свое описание М. В. Ломоносов: «Любовь есть склонность духа к другому кому, чтобы из его благополучия иметь услаждение. Сия страсть по справедливости назваться может мать других страстей... Любовь сильна, как молния, но без грома проникает, и самые сильные ее удары приятны. Когда ритор сию страсть в слушателях возбудит, то уже он в прочем над ними торжествовать может» (Ломоносов М. В. Краткое руководство к красноречию // Полн. собр. соч. Т. VII. М.–Л., 1952. С. 176).

А как современный человек обучается вести диалог? Очевидно, что, поскольку руководств нет, учит сама жизнь. Этот практический опыт, зафиксированный в поступках, разговорах, размышлениях, создал определенный стиль отношений, который (лишь отчасти) можно найти в художественной литературе. Вспомним примеры, наиболее близкие читателю по школьной программе. Мы увидим, что классика предлагает нам историю стилей диалогов, своеобразную типологию русской семьи, если рассматривать отношения Чацкого и Софьи, Онегина и Татьяны, Ленского и Ольги, Печорина и княжны Мери, типы семей в романах Л. Н. Толстого «Война и мир», «Анна Каренина» и др. Наконец, идеальный «для всех времен и народов» союз Анд-

рея Штольца и Ольги Ильинской (он предстает именно таким, если внимательно читать страницы романа И. А. Гончарова «Обломов»): «Снаружи и у них делалось все как у других. Вставали они хотя не с зарей, но рано; любили долго сидеть за чаем, иногда даже будто лениво молчали, потом расходились по своим углам или работали вместе, обедали, ездили в поля, занимались музыкой... разговор не кончался у них, бывал часто жарок.

По комнатам разносились их звонкие голоса, доходили до сада, или тихо передавали они, как будто рисуя друг перед другом узор своей мечты, неуловимое для языка первое движение, рост возникающей мысли, чуть слышный шопот души...

И молчание их было— иногда задумчивое счастье...

Не встречали они равнодушно утра; не могли тупо погрузиться в сумрак теплой, звездной, южной ночи. Их будило вечное движение мысли, вечное раздражение души и потребность думать вдвоем, чувствовать, говорить!..

Но что же было предметом этих жарких споров, тихих бесед, чтений, далеких прогулок?

Да все... Ни одного письма не посылалось без прочтения ей, никакая мысль, а еще менее исполнение, не проносилось мимо нее; она знала все, и все занимало ее, потому что занимало его».

Художественное сопереживание очень полезно, поскольку познание разнообразных ситуаций, столкновение чувств, приобщение к словесной эстетике готовит человека (и школьника, и взрослого) к собственным поступкам.

О правилах семейного и бытового диалога можно прочитать и в книгах психологов. Ученые-филологи в семейном «счастье» или «несчастье» видят то, что относится к науке о речи, о правилах ведения диалога. Любопытно, что и советы психолога оказываются преимущественно риторическими, то есть относящимися к созданию образа говорящего и слушающего, уместному построению диалога, манере речи, выбору слов и т. д. Вот описание бесед психолога В. Смехова в Московской консультации по вопросам семьи и брака: он «учит разговаривать друг с другом, спокойно и доброжелательно. Учит слушать не перебивая. И слышать. Учит задавать вопросы и отвечать на них. Решать совместно проблемы...» Среди основных причин семейных ссор и конфликтов (а это все следствие неправильной речи): «не сумел наладить диалог, раскрыться». И ставятся соответствующие задачи: «научить общаться» (Мы и наша семья. Книга для молодых супругов. М., 1989. С. 85).

Здесь же интересный тест на наблюдение над речью, конкретными выражениями, в которых проявляется умение быть

культурными в общении и правильно организовать семейный диалог. Ему и Ей предлагается оценить, как часто они используют запрещенные и желательные выражения. Среди запрещенных: «Я тысячу раз тебе говорил, что...», «Сколько раз надо повторять...», «О чем ты только думаешь...», «Неужели тебе трудно запомнить, что...» и т. д. Среди желательных: «Ты у меня самый умный...», «Ты у меня самая красивая...», «С тобой мне так легко...», «Ты меня всегда правильно понимаешь...» и т. д.

Психологи утверждают, что сейчас увеличивается эмоциональная нагрузка, ибо в патриархальной семье при множестве братьев и сестер, бабушек и дедушек удавалось удовлетворить разные психологические потребности. «В большой семье диалог как бы размыт, прерывается домочадцами, а потому не несет такой эмоциональной насыщенности, как в семье маленькой. И вот — вспышка гнева, на первый взгляд немотивированная» (Мы и наша семья, с. 95).

Да, действительно, теперь уже можно погрустить о семье с большим количеством родственников, детей, домочадцев. Но не сами ли мы бежали от такого типа семьи вследствие еще большей «эмоциональной нагруженности» коммунального быта, когда надо было общаться и с родителями, и с дядями и тетями, их детьми, соседями и т. д.? Бежали как раз потому, что человек имеет свойство уставать от общения; он хочет отдохнуть от множества диалогов (и наших деловых разговоров) — отсюда тенденция к делению семей и, что особенно тревожит, к отчуждению.

Письма читателей подтверждают мысль о том, что семейное благополучие, если не основывается, то, во всяком случае, выражается в речевом благополучии («Согласие да лад — в семье клад»). Вот одно из писем: «На днях мой сын накричал на меня и сказал обидные слова. Я сказала, чтоб он мне не звонил, и себе внушаю: нет сына и разговаривать не хочу и не буду. А какое вы могли бы предложить „лекарство“? *Накричал* — запрещенное или не рекомендуемое речевое действие, выражаясь сухим научным языком. Почему «запрещенное»? Потому, что, по правилам беседы, нельзя наносить вред собеседнику. Это вред не только обиженному, но и обидчику. А есть ли от этого «лекарство»? Безусловно есть. На резкое слово можно ответить по-разному. Первое: «Как аукнется, так и откликнется». Но справедливой ли будет позиция, когда оскорбленное самолюбие не позволяет трезво взглянуть на конфликт и разрешить его успокоительным словом? Или другой вариант: «Не памятозлбствуй на дерзких», то есть не держи зла, не помни зла. Способность сохранить доброжелательность, умение не раздражаться — впол-

не риторический совет Бальтасара Грасиана, испанского писателя XVII века. Из древнерусской литературы вспоминается ироническая реплика протопона Аввакума в диалоге с гневливым собеседником: «Он мя лает, а я ему: „Благодать во устах твоих, Иван Родионович!“»

Нет сомнения в том, что воспитание чувств и хорошей речи начинается с детства и осуществляется удачнее в больших семьях. Но в сущности проблема не в том, большая семья или малая. Дело — в умении «ступить и молвить», создать словом благоприятную среду, в культуре общения, которую я назвал бы традиционно «риторической культурой». И потому встает сегодня важнейшая социальная проблема: как преодолеть отчуждение, как научить людей быть счастливыми в «роскоши человеческого общения»? Именно в овладении культурой общения, искусством Слова скрыты выходы из бедственного культурного состояния нашего общества. Мы живем в эпоху возрождающегося политического красноречия, говорим о стиле и этике дискуссий на собраниях, конференциях, съездах, но закладывается культура общения и риторическое искусство слова в семье, где человек находит образцы речи, которым следует потом всю жизнь.

#### ЧИТАТЕЛЬ СПРАШИВАЕТ

«Что означает слово *максима* и где в нем ставить ударение?»

С. Петрова, г. Смоленск

*Максима* [от лат. *maxima* (*regula, sententia*) основное правило, принцип] — логический или этический принцип, выраженный в краткой формуле, правило, норма поведения.

Вот несколько примеров максим признанного мастера этого афористического жанра, французского писателя XVIII века Вовенарга:

«Если мысль нельзя выразить простыми словами, значит, она ничтожна и надо ее отбросить»;

«Где тёмн стиль, там царствует заблуждение»;

«Все наши заблуждения и разногласия в вопросах нравственных нередко объясняются тем, что мы считаем человека либо воплощением добродетели, либо воплощением порока».

(Из книги: Вовенарг. Размышления и максимы.  
Л., 1988)



1989 году исполнилось 90 лет со дня рождения известного советского лингвиста, видного исследователя русского литературного языка и языка художественной литературы, признанного специалиста по русским народным говорам, лексиколога и историка языка — профессора Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова доктора филологических наук Сергея Алексеевича Копорского (1899—1967).

Как и большинство советских лингвистов старшего поколения, С. А. Копорский на протяжении всей жизни был страстным пропагандистом культуры русской речи, выступая перед самой разнообразной аудиторией — школьниками и студентами, рабочими и колхозниками, публикуя многочисленные статьи и заметки на страницах газет, еженедельников, журналов. Он был одним из активных членов первого состава редколлегии журнала «Русская речь», способствовал становлению и укреплению этого научно-популярного издания [подробнее о С. А. Копорском см.: Русская речь. 1979. № 3].

Особенно большое внимание уделял С. А. Копорский воспитанию языковой культуры народа. Уже в первое десятилетие после революции он активно включился в борьбу ученых-филологов за «очистку» русского литературного языка против его «порчи», вызванной сложными социальными и экономическими процессами, происходившими тогда в обществе. Многие лингвисты того времени (в том числе А. М. Селищев, Е. Д. Поливанов) пристально изучали языковые явления, обусловленные революцией и после революционным периодом, отмечая широкое проникновение в литературный язык заимствований из иностранных языков, диалектной, профессиональной и просторечной лексики, из различных жаргонов. Эти лингвистические исследования велись параллельно с практической борьбой за чистоту языка

и служили ее теоретическим обоснованием. Культуру языка отечественные лингвисты всегда рассматривали как необходимое условие общей культуры народа, его духовности и придавали ей важное значение.

Статья С. А. Копорского «Воровской жаргон в среде школьников», которую мы предлагаем читателям (в незначительном сокращении), была опубликована в журнале «Вестник просвещения» [1927. № 1] и в сборнике «Ярославский край» [1929], посвящена описанию одного из наиболее негативных явлений в языке того времени — проникновению в речь молодежи жаргонизмов, в частности слов воровского жаргона, так называемой (в то время) «блатной музыки». Статья представляет интерес не только своим материалом (ставшим во многом для нас уже историей), но и как свидетельство того, что даже в тяжелые для страны послереволюционные годы ученых не переставал волновать вопрос о культуре, духовном потенциале советского человека.

Статья интересна и с точки зрения истории науки: она стоит у истоков зарождения новой области лингвистики — культуры речи. Наряду с практически рекомендациями по борьбе с жаргонной лексикой в ней рассматривается тематический состав и происхождение этих слов (диалектизмов, иноязычных заимствований, новообразований), особенности семантики, анализируются причины и пути их проникновения в среду школьников, смысловые и экспрессивные преобразования, сопровождающие этот процесс. В этой работе С. А. Копорского отразились некоторые черты быта той уже далекой для нас эпохи и отдельные стороны «языковой ситуации».



## О КУЛЬТУРЕ ЯЗЫКА И РЕЧИ МОЛОДЕЖИ (20-е годы)

С. А. Копорский,  
доктор филологических наук

Воровской жаргон относится к группе профессиональных «языков». Воры должны иметь свой условный язык, чтобы находить товарища в толпе улиц и базаров, чтобы помогать друг другу. Это практический словарь, и вследствие этого он узок по содержанию, включая в себя лишь некоторые тематические группы слов. Воры — кочующая категория населения, и поэтому в их словаре множество областных слов и выражений, заимствований из других языков. Он содержит в себе значительное количество названий с яркой оценочностью и экспрессивностью. Грубая образность жаргона не мешает быть ему ярким и выразительным. В нем много слов звукоподражательного характера и с метафорическими значениями. Достаточно отдаленного сходства между

двумя предметами, явлениями для того, чтобы обозначение свободно было перенесено с одной реалии на другую (например, слово *воробушки* означает «деньги», *снегирь* — «милиционер», *голубь* — «вор белья с чердака», *завалиться*, *замочиться*, *зарыться*, *засыпаться*, *защиться*, *поплыть*, *промазать*, *замухориться* — «попасться при краже»).

В последние годы слова из воровского жаргона получили широкое распространение среди школьников, которые используют их и на улице, и в школе, в устной и письменной речи, и в домашней обстановке. Миграция жаргонизмов в язык школьников происходит легко: например, через беспризорников, которые имеют непосредственные контакты с воровской средой и песут эти слова в школу. Большую роль в распространении «блатной музыки» играют улица, базар, развлекательные учреждения, как, например, кинематограф, где встречаются люди разных слоев общества.

Жаргонизмы широко распространены, к сожалению, среди рабочих фабрик и заводов. Известно, что взрослые являются самым большим авторитетом для детей. Дети подражают родителям, учителям, старшим товарищам в привычках, взглядах, языке. Обычные слова не вызывают интереса у ученика, он к ним привык. Новые литературные слова образуются по известным образцам. Но главное — это отвлеченные понятия, технические термины далекой еще от ученика жизни. Жаргонные слова неожиданны и в то же время понятны. Пусть ему неизвестны корни слов *афера*, *буза*, *нага*, *маза*, *мура*, *стрёма* — они просты, звучны и быстро воспринимаются.

Очень много слов, которые вызывают у ученика ряд конкретных представлений, понятных, близких и интересных ему. Образность груба, но в своей грубости проста и поэтому вполне удовлетворяет малоразвитым эстетическим вкусам. Часть слов, очень небольшая, обозначает предметы, с которыми школьник часто встречается, видит их. Многие слова очень легко приспособляются к школьному обиходу. Большой группой жаргонных слов можно пользоваться в играх, в драке. Удивляешься обилию синонимов, слов, относящихся по содержанию к этой группе. В драке, ссоре, игре речь всегда эмоциональна, отрывочна. Этой эмоциональностью насыщен словарь детей.

В то же время ученик не всегда понимает, каково действительное значение слова, берет и применяет его в других случаях и значениях. Далеко иногда уходит смысл слова в школьном употреблении от действительного, первоначального. Слово, интересное сегодня, завтра забывается, теряет свою содержательность.

Очень интересное слово каждый день получает новое значение, новый смысл или новый смысловой оттенок. Жаргонизмы попадают к школьникам в значительной степени «выветренными», утратившими специфически воровской профессиональный характер. Ученик не знает часто их основного значения и вкладывает в них свое содержание, свои переживания, свои настроения. В речи школьников словарь значительно очищается. За грубыми словами «блатной музыки» чувствуется детская игривость, детская энергия, не использованная, не направленная в должное русло ни школой, ни семьей, ни обществом. Однако и в том виде, в каком жаргонизмы бытуют у школьников, они — явление нежелательное.

Как же бороться с этим явлением?

Нельзя, конечно, противостоять появлению подобных слов у школьника путем запретительных мер, путем изоляции ученика от этих влияний. Как матерщина и другие признаки низкой культуры нашего быта, блатной язык может быть изгнан или обезврежен общими мерами поднятия культурного уровня среды и школы.

Однако в этой общей борьбе за культуру языка дурное влияние жаргонной лексики каким-то путем должно парализоваться и усилиями преподавателя языка и литературы. Во всей широте и глубине этот вопрос должен быть освещен специально, здесь же укажем лишь на некоторые моменты.

Бытование жаргонизмов в школьной среде говорит о том, что ученики не ощущают потребности в пользовании литературным языком, не чувствуют его выразительности и словарного богатства, не сознают возможности использовать его в практических целях логического и эмоционального характера. Учитель, прежде всего, может продемонстрировать необходимость сознательного, вдумчивого, бережного отношения к языку. На примерах выступлений плохих ораторов он представит, как непонятна может быть речь только потому, что выступающий не умеет пользоваться словами. Они не запечатлевают в его речи нужную мысль и лишь путают слушателей. Учитель может показать, сколько бывает бесполезных споров, лишней траты времени только потому, что человек не умеет или не хочет сознательно отнестись к слову. Отсюда встает и общий вопрос о социальном значении языка.

Культурное общество требует языка богатого, выразительного, способного передавать глубокие мысли, сложные переживания. Эти функции выполняет литературный язык — продукт долгого исторического развития. Он развивался вместе с развитием всего общества в целом. Чтобы жить и действовать в этом обществе,

надо владеть именно таким языком. На хороших текстах лучших мастеров слова учитель должен раскрыть, в чем выразительность, богатство и в то же время практическая польза языка культурных слоев общества. Постепенно совершенствуясь в своем культурном росте, ученик осознает смысловую ограниченность жаргонизмов, их несовершенство, беспомощность перед лицом языка, выросшего на базе органического развития культуры трудовых народных масс.

Ученик пользуется «блатной музыкой», играя, забавляясь, и она отчасти «утоляет» его художественные потребности. Учитель постепенно показывает грубость и примитивность эстетики жаргона, а отсюда отрицательную роль его для общества. Ученик должен осознать, как слова грубые, резкие усиливают, помимо желания говорящего, отрицательное действие; как те же слова в дружеских, товарищеских отношениях значительно снижают качество этих отношений. И, наоборот, литературно-поэтическая речь, исторически развившаяся, служит для создания настроений, эмоций, переживаний в таких формах, в каких они могут протекать в современных культурных условиях, не разрушая и разъединяя общество, а способствуя его укреплению, объединению его членов. На специально подобранных образцах учитель покажет богатство выразительных средств нашего поэтического языка, а вместе с тем и убожество в этом отношении «блатной музыки».

В качестве иллюстрации к статье о воровском жаргоне и о бытовании его в школьной среде прилагается словарь таких слов, который сверен со следующими словарями: Трахтенберг. Блатная музыка. Воровской жаргон. 1923; Потапов. Словарь жаргона преступников. 1927 (пометка Пот.); Словарь Даля (пометка Д.) и словарь К. Езерского в его книге «Фабзайцы». 1926 (пометка ФЗ). В тексте словарика есть ссылки на статью Н. И. Виноградова «Галивонские алеманы. Условный язык галичап, Костр. губ.» // Известия ОЯС. Т. XX, кн. 1. 1915 (пометка Г. А.).

## Словарь

*Агалёц, агальчик* — мальчишка. Слово с оттенком презрительным. См. *шпингалет, пацан*. В воровском жаргоне заменяется теперь словом *пацан*. Д.: *Голец* — голыш, нагиш, бедный; Трахт.: *Оголец* — несовершеннолетний преступник. Пот.

*Арап* — ложь, врака. «Ты, на арапа-то не лезь!» «Арапа-то не заправляй!» — не ври, не плутуй; вижу. Слово употребляется

и взрослыми. Влад.: игрок, аферист. «Арапа заправлять» — не уплатить проигранную сумму. Пот.

*Афе́ра* — выгодная, незаконная сделка; обман, «плутня» (см. «арап»). «Ты на аферу-то не лезь!» «Афера» (с жестом или присвистом произносимое, означает: «врешь, не проведешь!»).

*Буз(а)* — драка, подзадориванье, шум, канитель. Слово, трудно «переводимое». Имеет массовое применение и употребление в разных смыслах. Производные от него: *Бузить* — скандалить, шуметь, поддевать, причинять беспокойство, *бузиться*: «не бузи, не бузись». *Бузотер*, *бузистый*. Деревня, между прочим, существительное с малоупотребительным суффиксом часто изменяет: *бузотер* в знакомое ей слово *бузун* (соль): «Это по всей деревне такие бузуны, что...». Д.: *Буза* 1) каменная соль; (кстр., ветл.) трясина, ходун, выбун, болотная зыбь; 2) сусло, молодое пиво, неуходившееся, солотковое, *пьяная буза* — (из налив. кипятком каши: гречнев., ячм., овсян., пшен. с хмелем). ФЗ, Пот.

*В доску* — совсем, «зашился в доску», «извелся в доску», «пьян в доску». Употребляется очень часто в ругательствах. Пот.

*Вли́пнуть* — попасться. «Не зашто влип». «Влип по математике» (провалился).

*Зека́ть* — смотреть, подсматривать, караулить. «Я зекал сегодня картину в кино»; «Я также стоял на набережной и зекал на неподвижный лед» (из сочинений учеников). При курении: «Повекай немножко, а то увидят». *Зека́ть* — увидеть. Трахт.: *Зекс* — предупреждение об опасности — типе, *зектенить*. Д.: *Зыка́ться* — переключаться. ФЗ: *зерить*. Пот.

*Кимари́ть* — спать, «когда дремлют». «Прогуляешь, не попадешь домой и идешь кимарить к товарищу». Трахт.: *кимать*, *кимарить* — спать, Г. А.: *кимать*, *пожимать*, *кисмать* — отдохнуть (Галиц, рукоп. нач. XIX в.). У Виноградова указано 3 источника этого слова. ФЗ: *Кимать*. Пот.

*Клево* — хорошо. «Парень ты клевый». Трахт., Г. А. — *клиовый* (рукопись нач. XIX в.). Д. (ряз., твр., тмб., влд.). Пот.

*Кругом шестна́дцать* — хорошо, ловко, «нечем крыть», правильно. «Кругом шестна́дцать и взять нечего». Трахт.: *шестна́дцать* — сигнал о том, что кража окончена. Слово распространено сравнительно недавно и в деревне.

*Кумпол* — голова. «Я те по кумполу-то тресну». У шпаны: *кумпол*, *чепчик*. «Я по чепчику дам тебе».

*Моська* — лицо, морда. «Уйди, по моське дам!»; «Стукни, сунь ему в моську!».

*Мура* — дрянь, мелочь. У шпаны: «бура — игра в карты. Трахт., — все, что приобретено при игре, кроме денег, барахло».

Д. (твр., тмб.) — тюря, крошенный хлеб в квас. *Мури́ть* — завтракать мурой. Пот.

*Мурло, мурлетка* — лицо, толстое лицо, харя, рожа, морда, мастька. «Вот так у тебя мурлетка». См.: Даль.

*Нача* — воровство, обман, ложь, задирание, шутка над товарищем. «На начу-то не бери». *Подначка* — сбмап. «Честное слово, говорю без подначки». *Занычка* — спрятанное, «украл и спрятал». Кинет за бугор монету при игре в вышибалку, чтобы другой не мог попасть. — «Вот так я занычку дал». *Заначить* — продать что-нибудь, выгащить и продать, залезть в карман, «возьмешь ли нейку да и заначишь к другому». «Кто заначил мой карандаш?»; «Ты папирсы-то подальше заначь, а то увидят». *Отначить* — скрыть от сообщников и присвоить до дележа деньги, сэкономить, «отбавить немножко». *Подначить* — схитрить, насмеяться, подзадорить, сплутовать. «Ну и не подначивай, не подначивай!». «Днем они (шпана) сходятся, играют в азартные игры, спорят, ругаются, подначивают друг друга» (из сочинения ученика). *Проначить* — потерпеть неудачу, забраться в карман. *Проначиться* — забраться в карман, в кино, вообще куда-нибудь тайком, воровком. «Шпана утром, собравшись у лавочки, начинают рассказывать, где кто вчера был и кому удалось проначиться в какой-нибудь кинематограф» (из сочинения школьника). «Вечером ребята идут в кино, где некоторые *проначиваются*» (чаще). *Сначить* — стащить. «Он у меня сначил кошелек». *Заначливый* — сердитый. У шпаны: «стоять на подначке, — быть на подначке» — расхваливать товар, продаваемый товарищем. Агенты при обыске ищут заначки. «Заначка есть?». Д.: *Отначить* — отвесить или отмерить (яросл.). *Сначить* (твр., кстр.) — взять. *Начить* — брать, красть. (Теперь у мазуриков: *Выначить* — украсть часы из кармана). Очень распространенная группа слов. Пот.

*На ять* — хорошо, здорово. «Ну ребята, на ять выучил!».

*Нечем крыть* — слов нет, «заткнули (в споре)», нечем возразить. «Нечем крыть, так давай драться!». Трахт.: *Нечем крыть* — вопрос оставить без ответа.

*Пижбн, пиженный, пижбнить* — бахвал, франт, хорошо одетый, много думающий о себе. «Пижон с горячего поля!»; «Пижонит, что попал в шар». У шпаны — то же, что *фрайер*. Трахт.: *Пижон* — жертва шулера, *пижон крепкий, пижон целый, пижон порченный, пижон рваный*. Пот.

*Слизать* — списать у товарища сочинение, узнать решение задачи, что-нибудь вообще перенять. Бытует и у воров в значении «сделать то, что делают другие по афере». Так, напр., москвичи завезли прием воровства с бросанием денег (жертва

устремляется за брошенной ворами монетой, воры пользуются моментом и обкрадывают воз и пр., а ярославцы слизали).

*Сперётъ, упереть* — утащить, украсть, просто взять. Д.

*Сблжить* — сбыть, «сбачить».

*Стырить* — украсть, спрятать. Трахт. — стянуть, украсть. Д. — отмечено как воровское. Пот.

*Стибрить, подтибрить* — украсть, стащить, сначить, ляпнуть, стябрить, смыть.

*Сторговать* — украсть.

*Фрайер, фрэвер* — пизжон, «мальчишка шиковый». У шпаны: намеченная жертва. Трахт.: общее название жертвы карманников или мошенников, *фрайер срисовал* — потерпевший заметил или узнал. Обман, контрабанда, обманывать. Пот.

*Чесать* — бежать, бежать поспешно. «Ишь как чешет — пятки сверкают!» — «Чеши» — уходи и не мешай». Д., Пот.: Обманывать в картежной игре.

*Чумарь, чунар, чунар* — человек, который ошибается. «Тот, кто шумит», «чудак», «растреп», «смешной». Трахт.: *Чунар* — деревенский. Д.: *Чумах* (пск.) — замарашка-мошенник. Пот.

*Шпана* — 1) воры, хулиганы, беспризорные, агальцы и т. д.; 2) компания, группа; «наша шпана» (без оттенка презрительно-го). *Шпаненок, шпанский* — *шпанское слово*. *Шпанить* — вести жизнь шпаны. «Что ты теперь делать-то будешь!» — «Шпанить буду».

Слово, как и *буза*, получившее необычайное распространение и популярность. Трахт.: *Шпана* — коренное население тюрьмы. Д.: так в Сибири называют бродяг, а также проходящих по дороге. *Шпанский* — бродяжнический. ФЗ, Пот. В частушке:

Как у нашей-то шпаны  
На троих одни штаны.  
Один носит, другой просит,  
Третий очереди ждет.

В последнее время «блатная музыка» быстро стала исчезать из речи школьника. Исчезли слова, с которыми был только знаком школьник и которые, в сущности, были не нужны ему, например, *арелики* (деньги), *балчик* (базар), *забуреть* (заснаться) и др. Дольше всего держатся слова, которые обозначают явления и факты, близкие жизни школьника: *лягнуть* (наябедничать), *дворник* (дежурный), *засынаться* (попасть в беду, получить неуд), *загнуть* (соврать) и др. Распространены еще слова — названия чувств, настроений, обозначающие человеческие отношения; ругательства, угрозы и т. д. Но то, что осталось в речи

школьника, подверглось изменениям: утратилась эмоциональность, какую были окутаны эти слова, они выветрились, «выдохлись». Ученик ими пользуется скорее по привычке, а не по внутреннему интересу к ним.

Причины исчезновения прежде всего кроются в том, что исчезает источник, где они рождаются: воровская среда... Исчез также один из главных путей, по которым распространялись эти слова, — беспризорники. Они в сознании ученика не занимают такое место, какое имели раньше, романтика беспризорника развенчана. Исчезает интерес к писателям, которые пользовались как приемом живописания «блатной музыкой». Знаменитый Гришка Песков Сейфуллиной («Правонарушители») сменяется новыми героями. Сыграл здесь известную роль и клич об «очистке языка».

В заключение автор хотел бы обратить внимание читателя на книгу А. М. Селищева «Язык революционной эпохи. Из наблюдений над русским языком последних лет (1917—1926 г.)» (М., 1928). Появление этой книги в свет — одно из самых ярких событий в русском языкознании последних лет. Обозревая главнейшие явления языковой действительности по ее функциям, автор говорит здесь и о различных влияниях на современный язык: иноязычных, канцеляризмах, церковнославянизмах. Видное место среди этих влияний имеют вульгаризмы, в частности «блатная музыка». В этой книге, таким образом, читатель увидит «блатную музыку» как один из моментов в очень стройной и полной картине процессов современного языка.

*Вступление и публикация  
доктора филологических наук  
Е. С. Копорской ©*

## К 90-летию со дня рождения Виктор Иванович Борковский 1900—1982

Выдающийся славист, историк русского и славянских языков, академик Виктор Иванович Борковский родился 19 января 1900 года в городе Минске.

В. И. Борковский получил блестящее филологическое образование. Окончив с золотой медалью гимназию в Кишиневе, он в 1919 году поступил на историко-филологический факультет Московского университета, затем перевелся в Петроградский, который окончил в 1923 году. В университете В. И. Борковский изучал западнославянские и южнославянские языки под руководством академика П. А. Лаврова и профессора М. Г. Долобо. В формировании научных взглядов В. И. Борковского ведущую роль сыграл академик Е. Ф. Карский, под руководством которого он изучал историю, диалектологию восточнославянских языков, славянскую палеографию.

В 1938 году В. И. Борковский защитил кандидатскую диссертацию, в 1950 году — докторскую диссертацию. В 1958

году он был избран в члены-корреспонденты АН СССР, в 1972 году — действительным членом АН СССР.

Первым значительным трудом В. И. Борковского было исследование «О языке Суздальской летописи по Лаврентьевскому списку» (Труды комиссии по русскому языку. Т. I. Л., 1931). Тщательная по исполнению, образцовая по методу описания, эта монография долгое время служила для лингвистов примером изучения памятников истории языка.

В 40-е годы выходит серия работ В. И. Борковского, в которых он обосновывает изучение исторического синтаксиса древнерусского языка. Ученые старшего поколения в исторической грамматике русского языка преимущественное внимание уделяли только исторической фонетике и исторической морфологии. В. И. Борковский был первым среди историков языка, который представлял в своих работах содержательный и глубокий анализ основных особенностей древнерусского синтаксиса,

Среди его трудов следует назвать исследование «О синтаксических явлениях новгородских грамот XIII–XIV века», опубликованное в «Известиях Крымского педагогического института» (Т. IX. Языкознание. 1940) и в «Ученых записках Ярославского педагогического института» (Вып. IV. Русское языкознание. 1944).

В конце 40-х годов – в 50-е выходят три его монографии под общим названием «Синтаксис древнерусских грамот» (Львов, 1948, 1949). На обширном материале памятников XII–XVII вв. и современных диалектов он исследует различные типы синтаксических структур древнерусского языка в их истории. Это впоследствии дает возможность В. И. Борковскому вместе с профессором П. С. Кузнецовым создать университетский учебник по истории древнерусского языка «Историческая грамматика русского языка» (1-е изд., 1963; 2-е изд., 1965), где впервые в вузовском учебнике был представлен систематически и полно написанный раздел «Синтаксис».

В 60–70-е годы В. И. Борковский исследует проблемы сравнительно-исторического синтаксиса восточнославянских языков. В это время он публикует монографии, в которых изложены задачи и методы изучения сравнительно-исторического синтаксиса русского, украинского и белорусского

языков. В результате этой работы создается четырехтомный труд «Сравнительно-исторический синтаксис восточнославянских языков» (Т. I–II. 1968; Т. III. 1972; Т. IV. 1973). Первый и третий тома были написаны В. И. Борковским, второй и четвертый – коллективом авторов – сотрудниками Института русского языка АН СССР – под руководством и общей редакцией В. И. Борковского.

Когда археологами были найдены в Новгороде берестяные грамоты, В. И. Борковский начинает систематическое изучение этих бесценных памятников древнерусской письменности. В 1955 году вместе с другими учеными он публикует труд «Палеографический и лингвистический анализ новгородских берестяных грамот». В 1958–1963 годах вместе с историком членом-корреспондентом АН СССР А. В. Арциховским он создает два исследования под общим названием «Новгородские грамоты на бересте» (из раскопок 1953–1954 гг. и из раскопок 1956–1957 гг.), пишет лингвистический комментарий к ним, где предлагает свою расшифровку текстов ряда грамот и их датировку. В 1970 году этот замечательный труд удостоен Государственной премии СССР.

Серьезные исследования принадлежат В. И. Борковскому в области истории науки о

русском и славянских языках. Им были прокомментированы и переизданы сочинения академика Е. Ф. Карского «Белорусы. Язык белорусского народа» (Вып. 1. 1955; Вып. 2–3. 1956), «Труды по белорусскому и древнерусскому языку» (1962), «Славянская кирилловская палеография» (1979), академика А. А. Потебни «Из записок по русской грамматике» (Т. I–II, 1958; Т. III. 1968).

В последние годы своей жизни В. И. Борковский (он умер 26 декабря 1982 года) — председатель Комиссии по истории филологических наук при Отделении литературы и языка АН СССР. Он написал ряд научных биографий выдающихся славистов и русистов: А. А. Потебни, Е. Ф. Карского, С. П. Обнорского, Л. А. Булаховского, С. Д. Никифорова и других.

В. И. Борковский был крупным деятелем советской высшей школы и организатором лингвистической науки в нашей стране. В 1930–1950 годах он — заведующий кафедрами русского языка во Львовском университете, в Крымском педагогическом институте, в Ярославском педагогическом институте. В 1950–1954 годах В. И. Борковский — заместитель директора Института языкознания АН СССР, в 1954–1960 годах — директор этого же института. В Институте русского языка АН СССР он руководит

сектором сравнительно-исторического изучения восточнославянских языков. Его ученики, среди которых много крупных филологов, работают в разных городах нашей страны — в университетах, педагогических институтах, научно-исследовательских институтах, школах.

Велики заслуги В. И. Борковского в области пропаганды научных знаний о русском языке, его истории и современном состоянии. В 1950–1953 годах он — ответственный редактор журнала «Русский язык в школе», в 1957–1967 годах — заместитель главного редактора «Известий АН СССР. Серия литературы и языка». Когда Отделение литературы и языка АН СССР начало выпускать научно-популярный журнал «Русская речь», В. И. Борковский стал его первым главным редактором (1967–1978), разработал программу этого издания.

Имя Виктора Ивановича Борковского занимает почетное место в истории отечественного языкознания. Его труды способствуют развитию сравнительно-исторических исследований славянских языков, изучению истории древнерусского языка, культурных и языковых связей братских славянских народов, по ним учатся молодые филологи в вузах нашей страны.

В. П. Волперский,  
доктор филологических наук

## Н. М. Малеча — ученый-лексикограф и педагог



Доцент кафедры русского языка Уральского педагогического института имени А. С. Пушкина Нестор Михайлович Малеча прожил большую жизнь. Он родился 8 ноября 1887 года в селе Струговская Буда Черниговской губернии. Учился в Новгород-Северской классической гимназии. В 1904 году был исключен из нее с «волчьим билетом» за участие в революционном движении. С 1905 года он студент Вольной высшей школы П. Ф. Лесгафта в Петербурге; но и ее не закончил, так как вслед за бра-

том, студентом Петербургского университета, умершим в тюрьме, был тоже арестован за распространение нелегальной литературы.

После революции Н. М. Малеча включился в работу по ликвидации неграмотности, сначала в военном округе, затем — среди гражданского населения. В трудное время двадцатых годов он закончил Киевский историко-археологический институт. На Украине были изданы его первые работы: «Словарики к „Кобзарю“ Т. Г. Шевченко», буквари, брошюры и учебники по украинскому языку. Вскоре он стал научным сотрудником Института языковедения АН УССР.

В 1945 году Н. М. Малеча окончил Уральский педагогический институт (Казахстан) и начал работать здесь на кафедре русского языка. Нестор Михайлович преподавал почти все дисциплины филологического цикла: русский язык, введение в языковедение, общее языковедение, диалектологию, старославянский и латинский языки. Педагогическую деятельность он постоянно совмещал с научно-исследователь-

ской, привлекая к этой работе молодых преподавателей и студентов.

В 1946 году возглавляемый им коллектив приступил к сбору материала для словаря уральского говора. Ежегодно снаряжались экспедиции по изучению местного диалекта. Были обследованы 180 поселков, записана речь 850 жителей. В Институт русского языка АН СССР были отосланы собранные в 159 экспедициях материалы (вместе с магнитофонными записями) для Диалектологического атласа русского языка. Изучению местного диалекта Н. М. Малеча посвятил много работ, которые публиковались в течение всей его жизни: *Говоры уральских казаков* (М., 1949); *Уральские казаки и их диалект* (Уральск, 1955); *Перестановка звуков в территориальном диалекте...* (Л., 1962); *Фонетический строй говора уральских казаков. Вокализм. Консонантизм* (Алма-Ата, 1968, 1972) и многие другие. Тема кандидатской диссертации ученого — «Фонетический строй территориального диалекта уральских казаков» (Уральск, 1954).

В 1969 году было закончено составление «Словаря народных говоров русского населения среднего и нижнего течения реки Урал». В Словаре содержится около 26 000 словарных статей. Приведем некоторые слова. Вот, например,

заимствованные у тюркских народов: *каймак* — топленые сливки, *кудук* — колодец, *казан* — котел, а это слова, связанные с рыболовным промыслом уральских казаков: *ярыга* — рыболовная сеть, *бударка* — лодка; *осенняя плавня*, *зимнее багренье* — время лова; *курхайское* — прибрежное (место лова); *рыжакое*, *ярыгами* — орудие лова; *ботать*, *борожить* — способы лова. А какие яркие слова-характеристики: *растатуриха* — болтуня, *растачейка* — бесхозяйственная женщина, *алтырьник* — бездельник, *балабан* — болтун, *пустозвон*, *балакирь* — весельчак, *сазанчики на уме* — игривые мысли, *с белужинкой* — с придурью! Здесь также множество пословиц, поговорок, считалок, загадок ...

Представляет большой интерес «Словарь собственных имен уральских казаков» Н. М. Малеча. В нем собраны и систематизированы имена как в официальных, так и в неофициальных формах. При некоторых из них названо столько производных вариантов со всевозможными эмоциональными оттенками, что приходится поражаться изобретательности и творчеству народа. Можно назвать только часть уменьшительно-ласкательных форм к имени *Евдокия*: *Дая*, *Душа*, *Дуся*, *Душаря*, *Душаечка*, *Душая*, *Душареечка*, *Душаночка*, *Душарочка*, *Душайка*, *Ду-*

шана, Духара, Евдока, Евдокеюшка, Евдокуша, Евдокея, Евдося, Идакея и проч. — всего 41 имя! Часто имена уральских казаков попадали в поговорки, дразнилки, обрастали фразеологизмами: «Аннушка всем татарам баушка, а калмыкам сестрица»; «Потягота на Федота, а с Якова на всякого».

19 августа 1979 года не стало Нестора Михайловича. А эти словари так и не увидели свет, они лишь в машинописном виде находятся в Библиотеке имени В. И. Ленина (Москва) и в Словарном отделе Института языкознания АН СССР (Ленинград). Коллеги, ученики и 96-летняя вдова — М. Н. Малеча — ждут их публикации. Издание словарей будет серьезным вкладом в изучение русского языка, фольклора, топонимики и этнографии.

Круг научных интересов Н. М. Малечи был необычайно широким. Им опубликованы работы о проблемах изучения языка произведений В. И. Ленина, его интересовала также лексика Великой Отечественной войны, фольклор уральских казаков-уходцев. Он составил латино-русско-казахский и русско-латинский словари.

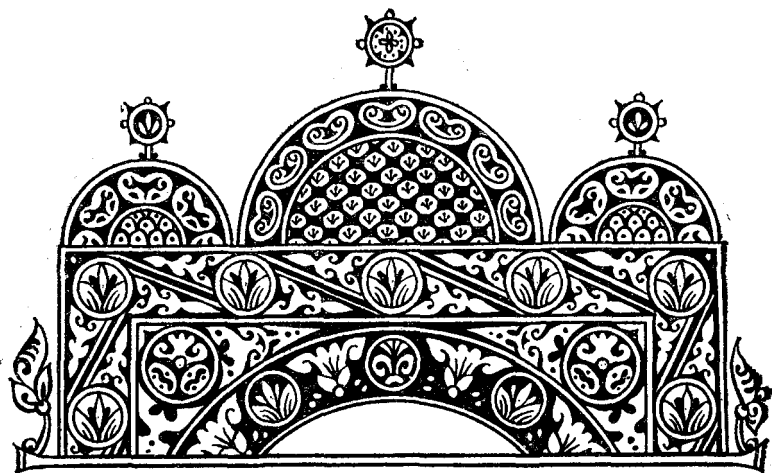
Оставшиеся в архиве рукописи Н. М. Малечи хранятся в разных учреждениях: в Центральной научной библиотеке

АН УССР, Гос. публичной библиотеке им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, Пушкинском доме и др. Это статьи, документы, дневники, воспоминания о современниках, написанные самобытным и образным языком.

В ноябре 1987 года, к 100-летию Н. М. Малечи, в Уральском пединституте состоялась научная конференция, на которой были сделаны доклады, посвященные разным сторонам деятельности ученого: Н. М. Малеча как лексикограф, фольклорист, этнограф, педагог и др. В адрес оргкомитета были присланы письма, заметки, статьи от ученых, хорошо знавших юбиляра. Особо отмечалась в них культурная ценность готовых к публикации словарей и необходимость их скорейшего издания.

Яркий след оставил Н. М. Малеча в жизни своих коллег и многочисленных учеников, работающих сейчас не только в Казахстане, но и в других республиках нашей Родины. Талантливый педагог, он старался привить ученикам любовь к своему краю, к русской языковой культуре, родному языку и народному слову.

*А. С. Крюкова,  
ст. преподаватель Уральского  
пединститута  
им. А. С. Пушкина*



*Мы продолжаем публикацию материалов,  
посвященных  
1000-летию славянской письменности и культуры  
и предлагаем читателям  
познакомиться  
с мыслями чл.-корр. АН СССР О. Н. Трубачева,  
высказанными  
по этому поводу  
в дни празднования  
знаменательного события  
в Новгороде  
(май, 1988).*



# В поисках единства

О. Н. Трубачев,  
член-корреспондент АН СССР

*Тело же не из одного члена, но из многих. Если нога скажет: я не принадлежу к телу, потому что я не рука, то неужели она потому не принадлежит к телу? И если ухо скажет: я не принадлежу к телу, потому что я не глаз, то неужели оно потому не принадлежит к телу? Если все тело глаз, то где слух? Если все слух, то где обоняние?.. А если бы все были один член, то где было бы тело?..*

*Первое послание к коринфянам  
св. апостола Павла, гл. 12*



так, с чего начать нам рассуждение о единстве? Не лучше ли с Новгорода и вовсе не потому, что это пример, удобно подсказанный случаем, а скорее — как тот камень в древней притче, который хотели сначала выбросить строители, а камень оказался главою угла...

Не так ли и Великий Новгород, который смущает иных исследователей, быть может, потому что не лезет в построенные ими схемы, и тогда эти ученые предпочитают забыть о Новгороде хотя бы на время... Я думаю о тех исследователях, которые ведут счет России и русскому языку только с XIV века, как и языкам украинскому и белорусскому. Они пекутся о единстве трех восточнославянских языков, честь им за это и хвала. Нам тоже дорого это единство братских языков, вышедших из древнего языка Киевской Руси. Но как решить тогда загадку Новгорода и его языка? Считать ли и его русским только с XIV века? Но еще из XI века дошли до нас новгородские берестяные грамоты, в которых русские люди обращаются друг к другу на русском языке. Вот пример условной схемы, которая втискивает в прокрустово ложе слишком поздних дат на самом деле гораздо более древнее и непрерывное существование русского языка, а возможно, и языков украинского и белорусского. Стоит Великий Новгород, а в нем — наперекор сомнениям — уже больше века стоит памятник Тысячелетия России, и тут, как говорится, ничего не прибавить, ни отнять.

Но он и дальше не дает покоя умам, этот удивительный город, достаточно древний, чтобы называться «Новым городом», достаточно отдаленный географически от Киева, «матери городов русских»; и столь привлекательный своим непокорством татарскому игу. Один зарубежный автор дал волю своим фантазиям о том, что было бы, если бы в XV веке Новгород победил Москву и открылась бы уже тогда — не окно в Европу, но целая дверь, и хлынула бы в эту дверь западноевропейская цивилизация, и смягчились бы нравы, и расцвела бы литература на живом русском языке раньше на добрых три века, и был бы поставлен заслон всей косности и азиатчине, которые в глазах того автора воплощала неполюбившаяся ему Москва... (см.: Исаченко А. В. Если бы в конце XV века Новгород одержал победу над Москвой. Об одном несостоявшемся варианте истории русского языка. 1973). Другие судят строже о Новгороде, который в эгоизме своей республиканской обособленности не заботился якобы о единении Руси, и потому Москва одержала над ним также дуковную победу.

Обе эти столь несогласные точки зрения роднит, как ни странно, признание особности Новгорода. Что же это за особность Новгорода, Новгородской земли, ее населения, ее языка, и как она сейчас видится нам, ищущим единство? И не получим ли мы именно отсюда роковой ответ, что не было единства, а было что-то совсем другое? Ведь речь на этот раз идет уже не о единстве русского, украинского и белорусского языков. Нет, на карту поставлена идея единства самого русского языка как такового. Но сначала — по порядку. То единство, которое мы имеем в виду, разумеется, не допускает простодушного понимания. Исследуя культуру и в ней — язык, необходимо уметь подняться до типологических обобщений и при этом — разглядеть единство в сложности, единство более высокого порядка, которое не может быть мертвым единством монолита, но только единством живого целого, состоящего из множества частей (вспомним слова из предпосланного нами эпиграфа: «Тело же не из одного члена, но из многих...»). Думая о единстве, занимающем нас, мы испытываем не одну лишь уверенность, но сознаем также и драматизм, потому что это единство (или эти единства) сейчас приходится доказывать, идет ли речь о древненовгородском диалекте и его единстве с остальным русским языком или о единстве культурного диалекта Древней Руси и нашего народного языка, или же наконец — о великом единстве всей русской культуры — древней языческой и — сегодня вот уже тысячелетней — христианской.

Такая программа способна дать пищу для ума многим и на

многое время. Поэтому, сознавая свои ограниченные возможности, попытаемся лишь наметить ответы. Впрочем, это занятие, как и всякое другое, таит в себе профессиональные опасности, — когда, долго всматриваясь в предмет, начинают преувеличивать значение отдельных фактов, упуская при этом масштабы целого. Кажется, что именно так получилось с характеристикой этноязыковых корней Новгородского Севера. Известна, например, старая гипотеза об особом, западнославянском, происхождении северновеликорусов Великого Новгорода (Вопросы языкознания. 1980, № 4, с. 44). На чем она основана? На том, в частности, что в новгородских говорах имеются черты сходства с языками западных славян; коротко говоря, и в одних, и в других сохранились некоторые старые сочетания звуков, тогда как на всей остальной русской территории эти сочетания давно изменились, упростились (Зализняк А. А. Наблюдения над берестяными грамотами; Янин В. Л., Зализняк А. А. Новгородские грамоты на бересте. Из раскопок 1977—1983 гг.).

Особенно ярко обнаружили эти старые черты в древненовгородских грамотах на бересте, теперь всесторонне исследованных. Однако дает ли это основания считать древний новгородский говор и его носителей пришельцами из области западных славян, даже если оказывается, что вначале несхожих черт было больше и они сглаживались лишь впоследствии? Усматривать тут лишь усвоение чужеродного элемента значит недооценивать единство собственного сложного целого, каким является ареал русского языка. К настоящему времени наука в общем неплохо изучила, как функционируют и развиваются такие языковые ареалы, и законы здесь одни для всех. Древнерусская языковая область была огромна и тысячу лет назад, но все обычные закономерности проявились и в ней. Новообразования языка при этом, как правило, выступают в центре ареала, тогда как уцелевшие древности, архаизмы естественно оседают и сохраняются на его окраинах, перифериях. Новгородская земля была одной из периферий Древней Руси, на то время, быть может, — самой дальней. Так получилось, что именно новгородская окраина отпечаталась вместе со своим древним говором в древнерусской письменности, возможно, лучше всего, но это надлежит понимать в том смысле, что о других самобытных окраинах Древней Руси (например, о ее древнем Юго-Востоке, стертом Степью) мы просто ничего не знаем.

Поэтому, не впадая в профессиональные преувеличения, мы не станем вести древних новгородцев от западнославянских лексиконных, да и общие архаизмы в языке у тех и у других с науч-

ной точки зрения не могут служить для этого достаточным резонаном, каким в случае совместных языковых переживаний могли бы быть только общие новообразования. А таковых как раз не имеется, и это показательно. Лехиты (то есть западные славяне, близкие к полякам, и сами поляки), и новгородские словены — это родственные друг другу славяне, а о единстве всех славян, дорогое нашему сердцу, мы еще скажем дальше. И Балтийское море, конечно, не разделяло, а соединяло народы, населявшие его берега, и древние пути тянулись из Южной Прибалтики и с Вислы к Волхову и Ильменю.

Но торговые связи — это еще не миграции целых народов. Расселение по Восточноевропейской равнине шло с юга на север и никак иначе, тем же путем поднималось и культурное развитие. Древняя обособленность новгородского диалекта не мешает нам видеть в нем исконный (а не приращенный!) член русского языкового организма, а те, кто из этой особенности спешат сделать вывод о гетерогенности компонентов восточнославянского языкового единства (см. Хабургаев Г. А. Становление русского языка. М., 1980), просто не дают себе труда понять сложный изначально диалектный характер этого единства и не утруждают себя также соблюдением правил науки — лингвистической географии. У таких теоретиков выходит, что все своеобразие — заемное: «В результате языковой ассимиляции абортитов». Доходит до того, что и знаменитым русским полногласием (*город, молодой, берега* и много-много других примеров) мы опять кому-то обязаны — балтам (Хабургаев Г. А. Загадка восточнославянских редуцированных. 1984), хотя известно, что самобытное ударение этих русских слов имеет древнюю, еще индоевропейскую природу!

Внешнее правдоподобие того исторического обстоятельства, что древнерусские племена в своем более чем тысячелетнем распространении на север и северо-восток действительно приходили в соприкосновение с балтийским и финским народностями, еще не доказывает того, что наступало безоглядное смешение, а значит, мол, и русский народ и русский язык — сплошная гетерогенная смесь. Нет, это может устроить только тех, кто не отличает правдоподобия от правды. Ведь на огромной лесистой и полноводной равнине древней Восточной Европы местные племена охотников, рыболовов и примитивных земледельцев были по жизненной необходимости расселены очень редко. Новые «населенники», Русь, и местные племена продолжали жить «особе», сосуществовали; ни о каком безоглядном смешении не могло быть речи. Праздным рассуждениям о таком смешении, об «ассимиля-

ции аборигенов» я бы противопоставил профессиональные выводы наших антропологов о том, что в расовом, антропологическом отношении влияние аборигенов Восточной Европы на восточных, древнерусских славян оказалось минимальным и что восточнославянские народы хорошо сохраняют свои изначальные праславянские признаки (Алексеева Т. И., Алексеев В. П. см.: VII Международный съезд славистов. Доклады советской делегации. М., 1973). Я допускаю, что этим трудно вдохновиться, когда усиленно рассуждаешь об особо смешанном происхождении великорусов, о массовом вторичном обрусении и т. д. Но все же полагаю нужным напомнить, что здесь сегодня больше преувеличения, чем тогда было обрусения. Наконец, ничем, кроме как немым изумлением, я не умею реагировать на встреченные утверждения в юбилейном пылу, что Русь в X веке была многонациональным государством... Это — в десятом-то веке!

Короче говоря, бывает нужно истово сражаться против подстановки понятий, поэтому я позволил себе сказать несколько искренних слов в защиту понятия, дорогого и человечески, и научно — в защиту русского этнического и языкового единства.

А центр этого единства, центр древнерусского ареала медленно сдвигался на север и северо-восток, из Среднего Поднепровья в Волго-Окское междуречье, как бы сворачивая с пути «из Варяг в Греки», — пути, по которому «из Грек в Варяги», с юга на север, главным образом шло все наше развитие — развитие народа, языка, письменности, культуры.

Конечно, год 1988-й для русского народа и других народов-братьев проходил под знаком тысячелетия крещения Руси, конечно, русскую культуру последнего тысячелетия не без основания связывают, как и всю европейскую культуру вообще, с христианством. Но... Думаю, что сказать свое «но» нам придется еще не раз — всякий раз, когда возникнет необходимость не поддаваться «слишком очевидным» очевидностям. Так, справедливо считается, что новая культура появляется сначала в неадаптированных формах, что престижу новой религии способствуют более высокие формы языка или вообще — язык, несколько отдаленный от народной основы, например, чужой язык. Этим языком христианской веры оказался у Древней Руси так называемый церковнославянский язык с характерными южнославянскими, болгарскими чертами. Следует ли это понимать в том смысле, что до введения в богослужебных целях церковнославянского языка на Руси своего собственного литературного языка не было и не могло быть? Значит ли это, что церковнославянский книжный

язык уже по логике вещей был единственный древнерусский литературный язык? Вот вопрос, который наука прошлого завещала науке наших дней (см.: Горшков А. И. Отечествен. филологи о старославянском и древнерусск. лит. яз. 1987). Претендовать на его бесповоротное решение трудно, но все же свежий взгляд на вещи кажется небесполезным и здесь, особенно потому, что здесь множатся подчас тупиковые воззрения, вроде того, что до 1700 г. «никакого русского литературного языка не существовало» (Исаченко А. В. Возникновение русского лит. яз. 1978). Тут самое время вновь напомнить о неслучайности наших поисков единства — будь то единство культуры народа или единство языка в его диалектах. Для нас важно именно единство, а не система, ибо система есть скелет, а нам требуется дыхание жизни, которое возможно лишь в единстве всех частей и функций.

Неуместным парадоксом, возможно, прозвучит, но все же — пусть прозвучит мнение, что все наши трудности с определением природы русского литературного языка проистекают оттого, что совпало введение христианства и одновременно — церковнославянского книжного языка. Подобным образом обстоит дело и с другими христианскими народами, хотя это и не обязательно. Крещеная Греция осталась при своем эллинистическом койне («общем диалекте»), крещеный Рим — при своем латинском языке. Если бы не крещение Руси, то, вероятно, не был бы введен у нас и церковнославянский (болгарский) книжный язык. Отсутствие пришлых форм культуры и новой религии благоприятствовало бы употреблению привычных форм языка. Да, но — каких? Тех же, что употребляются в обиходном общении? Или они не все подходят для более высоких целей? Так и хочется сказать — для письменной функции, хотя это только усиливает острую нашу неудовлетворенность состоянием проблемы начал нашего литературного языка.

Схематизм существующих решений этой проблемы закрывает перспективу, нужны более широкие типологические подходы, не скованные (пусть это не покажется странным!) гипнозом письменной формы языка. Такие подходы есть, их представляет изучение праславянского языка и его диалектов, вообще — дописьменного и бесписьменного языка. Наивно представлять себе, что дописьменный язык существует только в виде местных народных диалектов. Нужды дела, коммуникация всегда вели к междиалектному общению, при котором — в интересах лучшего взаимопонимания — всегда существует тенденция избавляться от слишком местных

диалектизмов. Это уже — путь к наддиалектным формам общения и хранения информации, он неизбежен. А договоры, клятвы, обращения к божеству — все это уже было под солнцем и притом — до христианства, практически — всегда. А устная народная поэзия! Ведь это уже *litteratura sine litteris*, литература без букв. Добавим, что только это и делало язык языком, а народ — народом, то есть признаваемым этническим единством. Это есть общий путь для всех, единая, так сказать, формула развития (при всей моей нелюбви к формулам), с помощью которой можно вывести существование также исконно-русского литературного языка, независимо от того, как бы ни сложилась потом его судьба. Наддиалект, развиваемый каждым нормальным, или, как еще теперь говорят, «естественным» языком, — это потенциальный предтеча литературного языка в распространенном понимании. Такой надрегиональный диалект существовал, надо полагать, и в рамках всего праславянского многодиалектного языкового пространства, именно он уже в эпоху праязыка славян питал сознание славянского этнического единства, которое нашло выражение в едином наддиалектном самоназвании всех славян — \**slověne*, этимологически — что-то вроде «ясно говорящие, понятные друг другу».

Мысли о древних устных культурных наддиалектах медленно и с трудом, но все же прокладывают себе дорогу в науке. Даже применительно к Древней Болгарии уже высказано вероятие наличия особого устного культурного языка, который существовал еще какое-то время наряду с церковнославянским письменным языком, но потом был полностью вытеснен. Предполагали, далее и существование различных праславянских культурных диалектов (Кравчук Р. В. Дифференциация праславянских культурн. диал. по данным словообразования. Минск. 1983). Как бы там ни было, показательна, например, судьба такого удивительного суффиксального форманта, как *-тель*, образующего стилистически высокие названия лиц (*создатель, спаситель, деятель*). Этот суффикс имеет исконно славянские народные истоки, но как раз в народных говорах представлен слабо. Он как бы ушел из народной речи, «сублимировался». Будет, видимо, правильно, если мы, признав исходной народной форму всякой речи (местные диалекты), обязательно признаем следом за этим неизбежную аристократизацию, то есть выработку через междиалектное общение более высоких наддиалектных форм речи каждым языком. Любое развитие предельно, и аристократизацию ждет в конце пути кризис, естественной реакцией на который отзывается новая демократизация.

Говоря фигурально, сосуществование «санскритов» и «пракритов» вечно. Но сейчас для нас важна первая фаза циклического развития литературного языка — важна хотя бы потому, что русскому языку в ней упорно отказывают. К сожалению, исследования о русском литературном языке совершенно еще не затронуты этими историко-типологическими исканиями. Исследования генезиса русского литературного языка, казалось бы, изобилуют материалом письменности и литературы, но это может служить, скорее, примером, как фактическое изобилие не спасает от схоластицизма, в котором эти исследования тонут.

После сказанного ясно, что нас не может удовлетворить такая формулировка: «Начиная с христианизации на территории восточных славян сосуществовали два языка — древнерусский язык в своей диалектной раздробленности (выделено мной. — О. Т.) и церковнославянский...» (Хютль-Ворт Г. Спорные проблемы изучения литературного языка в древнерусск. период. 1973). В настоящее время некоторые ученые у нас и за рубежом выступают с концепцией диглоссии в Древней Руси, при которой, по мысли этих ученых, богослужebные и высокие функции были уделом церковнославянского языка, а светские, бытовые — уделом русского народного языка. При этом русский литературный язык мыслится в виде продолжения церковнославянского, а вопрос об исконно русском литературном языке как бы снимается. Естественно, что концепция диглоссии вызвала критику. Критиковавшие, в частности, отстаивали идею существования древнерусского литературного языка, правда, ставя ее в слишком тесную связь с другой идеей — существовании у восточных славян письма до введения христианства (Мельничук А. С. О начальных этапах развития письменности у восточн. славян, 1987). Сторонники диглоссии заимствовали свое понятие из исследований на материале весьма отдаленных языков, однако курьезно, что это отнюдь не оказалось проявлением их чуткости к проблемам типологии развития языка, напротив, мы вправе констатировать у них отсутствие вкуса к этой типологии, ибо как иначе объяснить то, что вопрос о развитии собственного культурного наддиалекта у русского языка при этом даже не ставился, а значит, пренебрегалась универсалия развития языков.

То, что реально имело место на Руси, соответствует, конечно, понятию двуязычия, а не диглоссии, потому что налицо множественные влияния народного языка на книжно-церковнославянский и обратно, то есть отношения двух языков. Именно наличие взаимовлияний и даже

распространенность гибридных форм обоих языков убедительно свидетельствуют против диглоссии с ее постулатом культурного неравноправия высокого и низкого языков. Интересно, что, при всем обилии церковнославянской письменности, текстов на «чистом» церковнославянском языке не существует. В наши задачи не входит обозрение влияний церковнославянского на русский и русского на церковнославянский; они неплохо изучены и продолжают изучаться. Церковнославянский язык с самого начала в силу ряда обстоятельств оказался в преимущественном положении высокого языка в Древней Руси. Надо сказать, что это преимущество церковнославянского языка пользовалось постоянным вниманием ученых. Несравненно меньшее внимание привлекло преимущество, которого церковнославянский язык был практически лишен, а именно — внутреннее развитие, присущее каждому естественному языку, в том числе и древнерусскому народному языку. Этот недостаток церковнославянского языка — мертвого книжного языка Древней Руси — завуалирован его кажущейся подверженностью моде и изменениям времени в отдельных случаях. Эти последние вызвали у некоторых западных исследователей даже иллюзию собственной эволюции церковнославянского языка: «Ибо в противоположность латинскому, с которым церковнославянский многими охотно сравнивается ввиду своих функций и своего регионального распространения, церковнославянский имел, начиная со своего возникновения в IX веке, чрезвычайно изменчивую и оживленную историю, которая протекала в значительной степени обособленно от развития окружающих разговорных славянских языков» (Э. Вайер, предисловие к изданию церковнославянского перевода Иоанна Дамаскина, 1987). Но для правильного понимания кажется важным настоять именно на иллюзорности собственной языковой эволюции церковнославянского языка, этого «языка без народа», постепенно насыщаемого элементами местной живой речи. Неслучайно в стране с местным живым славянским языком употребление церковнославянского языка приводит к тому, что оказывается невозможным даже написать грамматику, например, сербскоцерковнославянского языка. Согласимся, что собственная «оживленная история» заведомо мертвого языка есть нечто очень сомнительное. Мертвые языки типа санскрита в принципе лишены собственной истории.

Сказанное — не пустая констатация. Наоборот, от этого зависит многое дальнейшее, что мы можем сказать еще существенно по истории русского литературного языка. В исследованиях по истории русского языка можно встретить и такой эксперимент,

способный привести к заключениям, кстати, прямо противоположным тому, что хотел экспериментатор. Берется, например, одна статья «Русской Правды» — «О татьбѣ», как образец древнерусского юридического текста и делается в общем оправданный вывод, что текст этот довольно темен: «Хотя большая часть употребленных в этом тексте слов представляется знакомой тому, кто знает современный русский язык, точное значение целого остается почти совершенно темным. Одна из причин заключается в том, что из 14 имен этой статьи только 6 не изменили (или почти не изменили) свое старое значение (*торгъ, конь, скотина, муж, истец, князь*). Остальные восемь имен совершенно неизвестны в современном русском языке: *татьба, мытник, видон, рота* — или имеют другое значение (напр., вост.-слав. *продажа* «штраф» → русск. *продажа*). Не любопытно ли, что возвышенно-абстрактные вокабулы церковнославянского гимна продолжают жить в современном русском языке., в то время как «народный» или «исконный» словарный состав юридического или бытового языка XIII века всплывает в современном русском языке лишь обрывочно?» (Исаченко А. История русского языка. Т. I: с начального периода до конца XVII в., 1980).

Отсюда автор этого исследования (Исаченко А. В.) даже делает вывод, что «для развития современного русского литературного языка знание языка древних деловых документов не имеет первостепенного значения». Переходя к языку летописей, этот исследователь отмечает его «неоднородный» состав («цитаты» из живой разговорной речи персонажей, народные пословицы, элементы языка народного творчества). Привлекаемый им далее отрывок из начальной летописи с рассказом о крещении княгини Ольги, по мнению исследователя, за малыми исключениями, написан «на чистом церковнославянском языке». И вот окончательный приговор автора: «...Этот текст сегодня без труда понятен каждому, кто владеет русским языком и немножко вчитался в церковнославянский. Если применять степень понятности как масштаб генетического родства языков, то приходишь к выводу, что современный русский язык несравненно ближе стоит к церковнославянскому, чем, возможно, к народному языку грамот».

Но ведь это говорит единственно о том, что один из языков, а именно народный язык юридических и бытовых документов, был живым языком и, следовательно, непрерывно развивался, почему сравнение текста XIII века и, скажем, XX века объективно констатирует как бы «сдвиг по фазе», усложняющий понимание сегодняшнему человеку. Тогда как другой из языков (церковнославянский

русского извода) предстает перед нами и в XII и в XX веке как мертвый книжный язык в своей забаллазированной неизменности. Да, он понятен современному культурному русскому, но лишь постольку, поскольку он вошел в современный русский язык на правах одного из стилей или типов книжной речи. Церковнославянские элементы, как бы ни входили они «в плоть и кровь» литературного русского языка, суть цитаты и культурные заимствования. Отрицать же значение народных текстов и элементов только за то, что их надо «переводить», можно, лишь игнорируя фактор времени и развития. И весь этот эксперимент — еще одна попытка взглянуть на русский язык как на существо, которое жить живет, а головы не отрастило. В споре с этой концессией помогает уверенность в обязательном для каждого языкового развития еще с дописьменной стадии выделения и оформлении наддиалектных, потенциально литературных форм языка, и было бы странно настаивать, что именно русский — непонятное исключение из универсального пути развития языков, представляя собой «древнерусский язык в своей диалектной раздробленности» (Хютль-Ворт Г. Там же) с абсолютным вакуумом вместо культурного наддиалекта, который был якобы восполнен пришедшим церковнославянским книжным языком.

Опыт истории литературных языков разных стран показывает необходимость серьезно отнестись к их родственной связи с соответствующими деловыми—дипломатическими языками. Это вероятно даже там, где научная традиция привычно ставит вопрос об индивидуальном авторстве одной выдающейся личности, например Вука Караджича — создателя нового сербского литературного языка (Штольц Б. Об истории сербохорватского дипломатического языка и его роли в образовании современного литературного языка. 1973).

Итак, помышляя в своих рассуждениях, казалось бы, только о единстве, мы на самом деле обрели великое противостояние народного русского языка и церковнославянского, противостояние, которое наложило свою печать на русский литературный язык навсегда. Это удивительное явление нашей культурной истории, как и все истинно большое, несло в себе и утраты, и приобретения. Вместе с тем, хорошо понимая смысл определенных утрат собственной самобытности, связанных с иноязычным выражением привнесенной книжной христианской культуры, мы все больше проникаемся величием культуры, которую несло с собой письменное слово,

*Продолжение следует.*

# НАРОДНОСТЬ ПОЭТИКИ М. В. ИСАКОВСКОГО

А. А. Поликанов,  
кандидат филологических наук



Поэтическое творчество Михаила Васильевича Исаковского (1900–1973), мастера советской классической лирики, с наибольшей силой проявилось в жанре массовой песни, одним из основоположников которой он был, достигнув в своем искусстве всенародного признания.

Секрет популярности песен Исаковского в их близости к фольклору. Образное совершенство его произведений основано на искренней авторской точности, богатстве и красоте стихотворного языка, изящной простоте и кажущейся непритязательности песенного строя.

Песням Исаковского присущи естествен-

ность сюжета, легкая и четкая строфика, емкие словесные образы, строго регламентированная и выдержанная ритмика. Внешне бесхитростная структура стиха при внимательном рассмотрении оказывается удивительно щедро насыщенной различными повторами, параллелизмами, символикой. Построение текста отличается стройностью, завершенностью, что усиливает эмоциональную

мысль песни, облегчает ее запоминание, делает максимально доступной.

Подлинно народными по форме и содержанию воспринимаются и ныне такие песенные шедевры Исаковского, как «Вдоль деревни», «Прощание» («Дан приказ: ему — на запад...»), «Катюша», «В прифронтовом лесу», «Летели на фронт самолеты...», «Лучше нету того цветку...», «Пшеница золотая», «Летят перелетные птицы...», «Ой, туманы мои...», «Каким ты был, таким остался...» и др. Их все отличает близость к русским фольклорным традициям. Так, Исаковский широко использует поэтическую анафору, то есть повтор начальных слов в двух или более строках. Например, в известной «Катюше»:

Пусть он вспомнит девушку простую,  
Пусть услышит, как она поет,  
Пусть он землю бережет родную,  
А любовь Катюша сбережет.

В других случаях синтаксические конструкции при повторе почти никогда не совпадают полностью, но неповторяющиеся слова часто оказываются очень близкими синонимами. Например: «Всюду были товарищи, / Всюду были друзья» (Огонек); «Вся душа моя пылает / Вся душа моя горит» («Лучше нету того цветку...»)

Подобный лексико-синтаксический параллелизм распространен и в народной лирике. Вот запевные строки из дореволюционного сборника П. В. Шейна (Великорус в своих песнях, обрядах, обычаях... СПб, 1898. Т. 1. Вып. 1. № 374):

Все тут девицы приутихли,  
Все тут красные приумолкли.

Повторы весьма характерны для поэтики Исаковского. В их активном использовании можно проследить явное сходство с фольклорными приемами. Обратимся к строкам из известной песни «Летят перелетные птицы...»: «Не нужно мне солнце чужое, / Чужая земля не нужна». Перед нами опоясывающий (или кольцевой) повтор, когда одно и то же сочетание слов открывает и заканчивает стих (или двустипхию), как бы обрамляя его. В этом же примере обнаруживаем повтор в форме стыка: конечное слово предыдущей строки подхватывается в начале следующей (*чужое — чужая*).

Все это особенно важно в сравнении со строками народной песни из сборника П. В. Шейна (Великорус... № 386):

Во синем море корабли плывут,  
Корабли плывут со товарами,

Приемы песенной символики у Исаковского также близки фольклорным. Однако традиционные символы у него, как правило, подвергаются заметному переосмыслению. Например, в устной поэзии образы калины и груши олицетворяют собой чистую, девичью любовь; увядание калины в старинных песнях соотносится с угасанием любви. В песне же Исаковского «Ой, цветет калина...» наблюдается совсем другое явление:

У ручья с калины облетает цвет,  
А любовь девичья не проходит, нет!  
А любовь девичья с каждым днем сильнее (...)

Своему изложению автор сообщил мягкий, мажорный тон и нежную лукавость (ведь в песне поется о современной девушке). Такое переосмысление обогатило традицию, изменило содержание устоявшейся символической образности.

Творческое отношение поэта к устно-лирическим средствам изображения сказалось и в том, с какой щедростью он расцвечивал свой стих ласкательными и уменьшительными словами, придающими повествованию особую задушевность и теплоту: *травушка, головушка, зорюшка, волюшка* и т. д. В его стихах широко представлены также традиционные синонимические повторы, позволяющие полнее охватить сюжетное действие, углубить и конкретизировать его, придать образу ясные и напевно-округлые формы: *думала-гадала, пролетела-промчалась, заросла-затерялась, расставаться-разлучаться, пройдено-исхожено*. Эмоционально-смысловое значение слова, его интонация создается и повтором, в котором второй член образуется от того же корня, что и первый: *далеко-далече, заря-зорька, белым-бела*. Грамматически это достигается с помощью суффикса или приставки.

В народной поэзии часто встречается конструкция с приставкой *рас(раз)* в ее расширительном, усилительном значении, концентрирующая смысл изложения и придающая слову мелодичность, напевность (*печаль-распечаль*). Прибегая к этому приему, Исаковский наполнял свою поэтическую речь такими выражениями, как *туманы – растуманы, раздаривать, распрощаться*. Иногда для большей эмоциональной изобразительности он употреблял распространенные в народно-поэтической речи двуприставочные слова: *неповинная, принакрылась, позасохло*.

Песенный язык Исаковского изобилует пословицами, поговорками, идиомами, фразеологизмами. Причем поэт никогда механически не копировал традиционную конструкцию, а применял ее к определенному жизненному случаю, всякий раз видоизменяя и конкретизируя ее содержание и звучание: *ж свадьбе залечится*

рана твоя; ты знала — будет праздник на улице твоей. Исключения составляли лишь идиоматические и фразеологические сочетания, которые вносились в текст в «застывшем» виде: *не видать ни зги; встать каменной стеной; до гробовой доски; как на грех* и др.

По типу фольклорной образности поэт нередко создавал свои эпитеты и сравнения. Причем отправной точкой для него неизменно был мир обыденных предметов и явлений природы (солнце, тучи, ветер становились действующими лицами его повествования). Например: *русые кудри, ясный месяц, сырая земля, ветры-скоморохи; месяц в небе светится, чтоб нам с тобою встретиться*.

Для лирики Исаковского характерен и такой традиционный в народном творчестве прием, как олицетворение предметов неживой природы. У поэта: *хата — рада, душа — слышит, пушки — говорят на русском языке, басы — вздыхают, Родина — повелевает*. Природа у него всегда одухотворена: *высокая рожь кланялась в ноги прохожим; сады задыхались от яблонь, черемух и слив*.

Фольклорные средства изображения художественно переплавляются в поэтике Исаковского. Автор, умело обыгрывая семантические оттенки слов и выражений, выявляя их скрытый смысл, добивается необычной силы поэтического воздействия. Так, Ваня Грай (из одноименного стихотворения) решил научиться летать ради заветной цели: подняться до облаков, чтобы те более на него не глядели свысока.

В «Географии жизни» поэт материализует идиоматическое выражение. Склонный к шутке колхозный сторож-старик говорит:

〈...〉 собаки в ночной тишине  
лают, как сукины дети 〈...〉

Обнажение первоначального значения слова в идиоме создает забавный каламбур, который, в свою очередь, выявляет характер веселого старика.

Юмористический образ создается также путем концентрации в одном слове многих его семантических оттенков. Шофер из песни «На перекрестке» задержался у поворота, встретив интересную девушку, и отвечает бранящему его начальнику:

Здесь ведь столько поворотов,  
Что не сразу разберешь.

И слово *поворот* воспринимается в разных значениях, создавая комический смысл.

Расширяя изобразительные возможности простых слов, поэт создал свой стиль, собственный почерк, который легко узнается по удивительно мягкой задушевности, составляющей прелесть лучших сочинений Исаковского. Слово поэта предельно насыщено смыслом и чувством, образы его предметны, зримы, ощутимы.

Испокоя веков в русских народных песнях говорится о *печали — глубоком горе — боли в сердце*. Эти образы присущи произведениям поэта, имеющим былинный строй повествования, где стих тесно связан с напевом. Таково, например, стихотворение «Враги сожгли родную хату...», переложенное на музыку и ставшее в исполнении Марка Бернеса популярной песней о подвиге народа-освободителя в Отечественной войне. Верный фольклорным традициям, Исаковский здесь искусно использует лексику из устно-поэтического обихода (*нести печаль свою, пошел солдат в глубоком горе, ветер траву могильную качал, вино с печалью пополам* и др.).

М. А. Шолохов назвал Исаковского «большим русским поэтом». Все лучшее, что написано им, прочно вошло в нашу духовную жизнь, стало частью нашей повседневности. Его знаменитая «Катюша», написанная в 1938 году, не старея, звучит и поныне, насчитывает свыше ста вариантов в устном народном творчестве.

Существуют десятки фольклорных вариантов песен «Одинокая гармонь», «Огонек», «Летят перелетные птицы...» и др. Словами популярной песни Исаковского «Снова замерло все до расвета...» открывалась регулярная передача Всесоюзного радио...

Прошло более полувека с тех пор, когда впервые в народном хоре имени Пятницкого прозвучала первая песня Исаковского «Вдоль деревни». Многое изменилось за это время, далеко ушла жизнь. Но не облетает цвет с тихого и проникновенного слова Михаила Исаковского, глубоко, по-своему выразившего душу народную, простую и мудрую, как жизнь, красивую, как песня.

# МАСТЕР

И. К. Марковский,  
кандидат филологических наук

Слово *мастер* очень давно прижилось в нашем языке. Оно пришло с первыми мастерами — златоками постройки и оформления православных церквей, чеканки, ваяния и т. п. из Греции (ср. греч. *mastoras* — «мастер, ремесленник») [Шанский Н. М., Иванов В. В., Шанская Т. В. Краткий этимологический словарь русского языка].

Древнерусские источники фиксируют различные значения этого слова. Воспользуемся примерами из богатых «Материалов для Словаря древнерусского языка» И. И. Срезневского и «Словаря русского языка XI–XVII вв.» В них представлено интересное нас слово в значениях: «начальник»: «Сего ради Д(а)в(и)д и мастер воины отлучиша» (1499 г.); «магистр (глава ордена)»: «Поклон от князя от Федора... к мастерову...» (1284 г.); «ремесленник»: «Постави... Еуфимии полату в дворе у себе., а мастера делали Немецкии из замориа, с Новгородскими мастера» (1433 г.); «учитель»: «А которые дияки учнут приходить ставитися в дьяконы и в попы, а грамоте мало умеют... таких дьяков отсылати к мастером в книжное учение» (1551 г.); «лекарь»: «Государь... пожаловал дохтура и аптекарей... и гортанного мастера, и костоправов, и рудомета» (1663 г.); «конский лекарь»: «Дал конскому мастеру ... четыре алтын» (1609 г.).

Значение «мастер-ремесленник» стало этимологическим центром многих образований в русских говорах, в деловой, бытовой речи: *мастак, маштак, мастюк, мастерко, мастери́к, мастера́* и др. (См. целый ряд образований в Словаре русских народных говоров и в Толковом словаре В. И. Даля).

Очень богатый перечень наименований профессий мастеров мы обнаруживаем в сборнике «Московская деловая и бытовая письменность XVII века» (М., 1968): «Челобитная завязочного мастера И. Фирсова» (1644 г.); «К сей скаски зеленой (пороховой.— И. М.) мастер Андрей Сергеев и вместо селитерного масте-

ра... руку приложил (1685 г.); «Станочного дела мастер» (1681 г.), «часового дела мастер» (1645 г.) и др. Все это свидетельствует о прочности вхождения слова *мастер* в живую русскую речь XVII века.

Кроме уже приведенных нами, в старых текстах встречаются *мастер церковный, колокольный, златой, портной*. В «Словаре русского языка XI–XVII вв.» подобных наименований более пятидесяти. Но есть и такие, где определяющее слово – приложение: *мастер-иконник, мастер-каменосечец, мастер-пушечник*. И только в сборнике «Дипломатические отношения с империей Римской» (СПб., 1851) мы обнаруживаем примеры, в которых определения к слову *мастер* развернуты в придаточные предложения: *мастер, который бы умел к городам приступати, который бы умел из пушек стреляти, который умеет от земли разделяти золото и серебро, который руду знает*. Несомненно, здесь дают себя знать языковые особенности деловой переписки. Таким образом, наряду с однословными наименованиями профессий (*горничар, домник, кожевник, лучник, стеклянник* и др.) отмечаются в большом количестве наименования, обычно оформляющиеся в словосочетания (в основном с родительным определительным или согласованным определением).

Петр I в указе об организации Академии Наук в 1724 году упоминает *градировального мастера* (обычно выжигающего кислотой по металлу. – И. М.) и *барометрического мастера*. В «Росписи мастеровым людям» называются такие мастера: *угольные, канатные, медные, ножевые, оловянные, портные, пуговичные, рукавишные*. Изредка встречаем сочетания типа: *жестяного дела мастер* (Письма и бумаги Петра Великого). Учителей при Петре I еще называли *школьные мастера, служащих посольств – посольские мастера*. Отсюда закрепилось за учителем название *мастер*, сохранявшееся еще в XIX веке в литературных источниках и говорах (см., например, «Словарь русских народных говоров»). А вот *мастер* в значении «лекарь» в литературном языке XVIII–XIX веков и по говорам не отмечается.

Начиная с XIX века старые осложненные наименования со словом *мастер* почти не повторяются, сохранились только в сочетаниях *золотых дел мастер, часовых дел мастер* и некоторых других. Современные словари дают их с пометой *устар.* А вот современные справочники по профессиям, как бы возвращаясь к старой традиции, рекомендуют названия: *мастер-маслодел, мастер-сыродел, мастер машинного доения*.

Почему все-таки произошла утрата старых сложных наименований профессий? Причина кроется в том, что со временем

смысл названия профессии стал заключаться не в самом слове *мастер*, а в слове определяющем: *портной мастер — портной, сапожный мастер — сапожник, часовых дел мастер — часовщик* и т. п. Кроме того, в слове *мастер* стало вырисовываться обобщающее значение: «специалист в какой-то отрасли», «вообще специалист». В этом значении *мастер* закрепляется в пословицах: *Дело мастера боится, Люби дело — мастером будешь, Всякого мастера работа хвалит, На руки мастера охотников много, По работе и мастера знать и др.*

Мастер был специалистом, профессионалом в конкретном деле. А поэтому слово *мастер* (*мастерица*) получает значение не только обобщающее, но и конкретно положительное: «умелец, виртуоз, специалист».

Такое наполнение слова положительным смыслом приводит к тому, что мастера в сословных, цеховых организациях начинают выделяться по административным рангам: *старший мастер, доменный мастер*. Отсюда и современные названия *мастер цеха, мастер участка*.

Высокий профессионализм мастера обычно подчеркивался словами *мудрый, искусный, умелый*: «Придоша ... мудрии мастера, иже искусни бяху созидати каменных церквей и полат» (Книга Степенная царского родословия, 1560). Этими словами он характеризуется и теперь. С начала XIX века фиксируется значение: «лицо, достигшее высокого мастерства в какой-нибудь области искусства». «Не множеством картин старинных мастеров /Украсить я всегда желал свою обитель...» (Пушкин. Мадонна). В таком значении сейчас употребляются такие сочетания: *мастера искусства, мастер художественного слова*. «Толковый словарь русского языка» (1935–1940) под ред. Д. Н. Ушакова одним из первых фиксирует у слова *мастер* значение «звание, присваиваемое выдающимся шахматным игрокам...»

Со временем слово *мастер* расширило свои возможности и стало относиться не только к профессиям: «...Доктор мой кнута достоин. /Хоть он трус, хоть он не воин, / Но уж мастер воевать, / Лечит делом и словами...» (Пушкин. Куплеты на слова «С позволения сказать»); «— Зачем ты пришел сюда? — так начала говорить Оксана. — Разве хочется, чтобы выгнала за дверь лопатою? Все вы мастера подъезжать к нам» (Гоголь. Ночь перед рождеством). И вот тут-то слово *мастер*, расширив сочетаемость с другими словами (с абстрактными существительными и даже о глаголами), стало получать негативную окраску, от легкой иронии до резкого сарказма, что определяется контекстом, словесным окружением. Об этом, например, свидетельствует приведенный

пример из Н. В. Гоголя. В наше время мы встречаем такие сочетания: *мастер поспать, мастер топить любое дело, мастер интриги, мастер ломать комедию* и др.

Часто отрицательное значение приобретает слово *мастер* в типизированных конструкциях, образованных по аналогии с устойчивым сочетанием *золотых дел мастер*: «И это всяких там анкетных дел мастеров, оказывается, не очень интересует» (Половой Б. Доктор Вера); «Обманных дел мастера» (Правда, 19 октября 1986). Нами отмечены в современной периодике *сладких, лимонных, торжественных, кулинарных, добрых, трудовых, словарных, электронных* и мн. других *дел мастера*. Эти словосочетания несут яркую экспрессивную окраску, что сказывается и в особом интонационном выделении.

Расширились не только семантико-стилистические, но и синтаксические возможности слова, появляются новые конструкции: *мастер на что...* — (*мастер на слог*), *мастер в чем...* — (*мастер в живописи*), *мастер по...* — (*мастер по металлу*) и т. д. Как каждое емкое слово, *мастер* может расширять и свои словообразовательные возможности: *недомастера, псевдомастер, микромастера*. Вспомним знаменитое слово С. Я. Маршака *ломастер*.

«Словарь синонимов русского языка» (т. I, II, 1970) к слову *мастер* приводит следующие синонимы: *искусник, художник, артист, виртуоз*. В живой современной речи круг этих синонимов расширяется словами: *академик, профессор, ас*.

Такова вкратце своеобразная история этого древнерусского заимствования,



## Об истории омонимов: мандарин

Н. Г. Чаусова

В русском языке, как и во многих других языках, есть слова, совпадающие по форме, но совершенно различные по значению, — омонимы. Как возникают омонимы? Существует множество причин.

Омонимы могут возникнуть при случайном совпадении по форме совершенно разных слов, например, при заимствовании из разных языков (*гриф* «птица» — из греческого языка, *гриф* «печать» — из французского), или же при совпадении заимствованного слова с исконно русским (*балка* «овраг» — исконное, *балка* «брус, бревно» — из немецкого языка).

Омонимы могут также возникнуть при совпадении по форме исконных слов в результате изменения их звукового состава, словообразовательных процессов. Так, известное у всех славян слово *рысь* «хищное животное семейства кошачьих», производное от *рысый*, *рысавый* «рыжий», совпало с собственнорусским *рысь* «быстрый аллюр (средний между галопом и шагом), при котором лешадь попеременно выносит и опускает то правую переднюю и левую заднюю, то левую переднюю и правую заднюю ноги».

Однако омонимы чаще возникают не при совпадении разных слов, а при расхождении значений одного слова. В этом случае общность формы омонимов не является случайной, она свидетельствует о некогда существовавших связях между их значения-

ми. Этимология и историческая лексикология позволяют обнаружить утраченные связи между значениями слов, а также выявить причину их утраты.

Все же в исследовании омонимии остается множество нерешенных вопросов. В ряде случаев трудно дать однозначный ответ, является ли конкретная пара омонимов словами, случайно совпавшими по форме или между ними в прошлом существовала связь. А если эта связь действительно существовала, вопрос в том, каков ее характер, в каких условиях, по какому признаку осуществился перенос наименования с одного предмета (явления) на другой, определивший возникновение нового значения, и что явилось причиной разрыва этих значений.

Итак, попробуем определить, почему совершенно разные предметы получили одно название, например, *мандарин* «чиновник в феодальном Китае» и *мандарин* «плодовое цитрусовое дерево, а также его плоды».

Прежде всего, следует отметить, что оба омонима иноязычного происхождения. В русский язык они вошли в разное время. *Мандарин* «китайский чиновник» отмечается в XVII веке: «...сидят мандарины, а сидят всякий по чину своем» (Спафарий. Китай. 1678 г.). Это слово заимствовано из португальского языка, где оно возникло в XVI веке. Португальское *mandarin* (в некоторых источниках — *mandarin*) передает древнеиндийское *mandarin* «советник», образованное от *māntras* «совет». Характерно, что *мандаринами* называли чиновников Китая только европейцы. Сами китайские чиновники именовали себя по-другому — *кан* (или *kwan*). К тому же *кан* в китайском языке обозначает и «сорт апельсинов» (см.: Фасмер М. Этимологический словарь русского языка).

Чаще всего в западноевропейских и славянских этимологических словарях *мандарин* «цитрусовое дерево и его плод» объясняется как производное от *мандарин* «китайский чиновник». Приводятся различные признаки, положенные в основу такого переноса наименования. Растение могло быть названо *мандарин*, потому что, во-первых, китайские чиновники (мандарины) занимались разведением этого вида цитрусовых; во-вторых, одежды китайских чиновников сходны по цвету с этим плодом; в-третьих, возможно, европейцы усмотрели внешнее сходство плодов с желтолицыми китайскими сановниками.

Во всех случаях бесспорным признается китайское происхождение названия этого вида цитрусовых. Однако при этом без объяснения остается факт, что слово *мандарин* «плод» появляется в европейских языках почти на 200 лет позже, чем *мандарин*

«китайский чиновник»: по данным этимологических словарей, во французском языке оно впервые фиксируется в конце третьей четверти XVIII века, в английском отмечается с XIX века.

В русском языке слово *мандарин* «плод» появляется не раньше конца XVIII века, когда в Петербурге и близлежащих имениях большое распространение получили оранжереи, где выращивались диковинные заморские фрукты, в том числе мандарины.

Известно, что мандарины издавна росли не только в Восточной Азии, но и в Северной Африке, откуда легко могли проникнуть в субтропические зоны Европы. Так, в английском языке этот вид цитрусовых именуется *tangerine* — от названия портового города Танжер в Марокко, откуда цитрусовые вывозились в Англию, хотя параллельно с этим названием в английском языке существует и общепринятое *мандарин*.

С точки зрения географического распространения этого плодового цитрусового дерева весьма возможно происхождение наименования *мандарин* от названия какой-либо географической области (например, области Мандара в Африке). Вполне понятно, что в этом случае *мандарины* «деревья и плоды» не имеют ничего общего с *мандаринами* «китайскими чиновниками», кроме случайно совпавшего названия (аналогично совпали *лама* «южноамериканское животное» и *лама* «буддийский монах»).

В русском языке *мандарин* «плод» считается заимствованием из испанского языка (*mandarin*), хотя слово могло прийти и из другого западноевропейского языка. Принимая исходным испанское *mandarin*, приведем еще одно объяснение названия плода: испанское *mandarin* образовано от *se mondaro* «чиститься», то есть плод, который хорошо чистится. Такое объяснение дано в Этимологическом словаре русского языка Г. П. Цыганенко. В его пользу говорит то, что Испания является одним из наиболее характерных районов выращивания мандаринов.

Следует признать, что наиболее распространенной в этимологических словарях является точка зрения происхождения слова *мандарин* «плод» от *мандарин* «китайский чиновник». Однако наиболее распространенное не всегда значит истинное. Дать окончательный ответ поможет поиск новых культурно-исторических и лингвистических фактов, связанных с происхождением этого интересного слова.



И. Г. Добродомов,  
доктор филологических наук

... в третьем сериале он им всем  
покажет *matrima di Cosimó*...

*Литературная газета. 1988. 17 авг.*

Формулируя основные понятия русской фразеологии как лингвистической дисциплины, академик В. В. Виноградов писал в 1946 году о разновидностях фразеологических единиц: «Несомненно, что легче и естественнее всего выделяется тип фразеологических единиц, абсолютно неделимых, неразложимых, значение которых совершенно независимо от их лексического состава, от значений их компонентов, и так же условно и произвольно, как значение немотивированного слова — знака.

Фразеологические единицы такого рода могут быть названы фразеологическими сращениями... Примером фразеологического сращения является просторечно-вульгарное выражение *кузькина мать*, обычно употребляемое в фразосочетании: *показать кому-нибудь кузькину мать*. Комментарием может служить такое место из романа Н. Г. Помяловского «Брат и сестра»:

«Хорошо же, я тебе покажу кузькину мать... Что это за *кузькина мать*, мы не можем объяснить читателю. У нас есть много таких присловий, которые во времени утратили смысл. Вероятно, кузькина мать была ядовитая баба, если ею стращают захудалый род». Ср. у Чехова в «Хамелеоне»: «Он увидит у меня, что значит собака и прочий бродячий скот. Я ему покажу кузькину мать...»

Наличие грамматических форм и семантических связей в идиоматизме ведет к возможности некоторых синтаксических его видоизменений. В выражении *покажу кузькину мать* абсолютно не мотивирована лишь идиома *кузькина мать*. Глагол же *показать* вступает в привычный ряд родственных оборотов: *покажу, еде раки зимуют, показать Москву* (в значении «выдрать за вихры»), *я тебе покажу* (с экспрессией угрозы) и т. д. Поэтому возможны видоизменения и в употреблении выражения *показать кузькину мать*. Например, у В. А. Слепцова в очерках «Владимирка и Клязьма» (в речи крестьянина): «Взмолился, ноги-то, видно, отморозил, толоконное брюхо. Ты, должно, еще, брат, не видал кузькину мать, в чем она ходит, а то я бы показал» (Виноградов В. В. Избранные труды. Лексикология и лексикография).

Выражение *кузькина мать* как символ угрозы часто соединяется с глаголом *узнать* в качестве сказуемого, при котором как подлежащее выступает объект угрозы (тот, кому угроза предназначена, кому грозят): «Вот, говорит, отведу я им место верст за пятьдесят, так узнают кузькину мать» (Мельников-Печерский. Дедушка Поликарп).

Общее значение фразеологизма может быть и совсем иное: *узнать кузькину мать* скорее употребляется как обозначение испуга в результате угрозы: «— Что, небось, узнал в ту пору [во время ревизии], как кузькину мать зовут!» (Салтыков-Щедрин. Пошехонская старина). В произведениях М. Е. Салтыкова-Щедрина фразеологизм трансформируется так, что страшным представляется даже знакомство лишь только с именем кузькиной матери: «А вот поговори ты у меня, так узнаешь, как кузькину мать зовут» [Сатиры в прозе (Скрежет зубовный)].

Порой этот же автор ограничивается лишь намеком на злое выражение, что характерно для его эзоповского языка: «За границей нигде не кричат караул, нигде не грозят свести в участок, не заезжают, не напоминают о Кузьке и его родственниках» (За рубежом).

В рязанских говорах в начале XIX в. М. Н. Макаров отметил выражение *Кузку подпустить* «досаду чем-либо делать, задирать

чем кого», где *Кузка* объяснено как уменьшительное от *Козма* (Макаров М. Н. Опыт русского простонародного словотолковника).

Поиски конкретного прообраза Кузьки предпринял В. Н. Сергеев: «Кузька (полное имя — Кузьма, Козьма) был некогда бедным, обиженным судьбой человеком. Об этом свидетельствуют народные поговорки: Кузьма — бесталанная голова; Горькому Кузеньке — горькая долюшка; Кузенька — сиротинушка и др. Возможно, Кузьма был приемным сыном или вскормленником и проживал с названной матерью, женщиной крутого нрава. Наказывая виновных, именно она, по-видимому, первая произнесла слова: «узнаешь (попомнишь), будешь помнить кузькину мать!»

Но пословицы и поговорки донесли до нас и другое представление о Кузьме, как о злом и мстительном человеке: «Наш Кузьма все бьет со зла; не грози Кузьма: не дрожит корчма». Возможно, Кузьма (Кузка) и унаследовал от матери ее тяжелый характер, так как яблоко от яблони недалеко падает.

Мать Кузьки вела себя так, что на глаза ей лучше было не попадаться. Обещание устроить встречу с ней, показать ее разгневанной не сулило ничего хорошего и приводило многих в трепет» (Сергеев В. Н. Из биографии Кузьки. — Русская речь, 1973, № 4).

Фактически этим же ономастическим путем пошел В. М. Мокиенко. Он попытался причислить интересующее нас выражение к фразеологизмам, «в основе которых лежит имя собственное, подвергшееся обобщению еще до фразеологизации благодаря своей социальной оценочности: *филькина грамота, драть как сидорову козу, показать кузькину мать* и под. ...Так, имя *Филипп* (также *Филимон, Филат*) в уменьшительной форме *Филля* становится обобщенным названием глупого и ленивого человека, имя *Сидор* получает коннотацию [добавочное значение, окраску, окрашенность. — И. Д.] «скупой и мелочный хозяин», *Кузька* — «бедный», «неряшливо одетый» или «неловкий человек» и под. Характерно, что хотя процесс «апеллятивизации» имени [апеллятив — то же, что имя нарицательное. — И. Д.] — это процесс лексический, он тесно связан с контекстуальной, а следовательно, и в какой-то мере фразеологической «обкаткой» имени собственного. Экспрессивные коннотации нередко выводятся именно из текстов — в основном пословичных, имеющих ясную структуру и лексический состав, чем соответствующие фразеологизмы. Приведем лишь некоторые из подобных контекстов, в которых рождались устойчивые коннотации оборотов *филькина грамота, показать кузькину мать* и *драть как сидорову козу*, используя материал различных паремнологических сборников XVII–XX вв.;

У Фили были, да Филю ж и побили; Жил Филя у простофили, сам простофилей стал; У всякого Филатки свои хватки и т. п.; На Сидора пока ни одна беда не пришла; Сидор да Борис об одной дрались; Сидор пьет — черт челом бьет; Сидорова правда — киселем блины мазаны; Поживешь — и Кузьму отцом назовешь; Прежде Кузьма огороды копал, а ныне Кузьма в воеводы попал; Горькому Кузеньке горькая долюшка и мн. др. Именно в таких пословичных и фольклорных контекстах закрепляется та или иная апеллативная характеристика имени. Случайные характеристики постепенно отсеиваются, и в литературную фразеологию попадает лишь то, что выдержало проверку долгим речевым употреблением.

Фразеологизмы типа *показать кузькину мать*, *драть как сидорову козу* или *филькина грамота* образуются обычно не конденсацией большего литературного текста, а противоположным способом — ... его развертыванием в сочетание, закреплении той или иной коннотации минимальным (...фразеологическим) контекстом. Нередко это даже развитие более древнего фразеологического образа на базе чисто национального именослова» (Мокиенко В. М. О собственном имени в составе фразеологии. — Перспективы развития славянской ономастики. М., 1980).

Эти общие стилистически усложненные соображения вне связи с конкретным материалом интересны сами по себе, но они едва ли помогут найти истоки выражения *показать кузькину мать*, поскольку входящее в его состав прилагательное, вероятно, первоначально никак не было связано с личным именем *Кузька* и получило такую связь лишь вторично по забвении первоначальной образной основы фразеологизма и по его переосмыслении, что довольно часто наблюдается в области фразеологии.

В известном сборнике образных слов и выражений М. И. Михельсона «Русская мысль и речь. Свое и чужое. Опыт русской фразеологии» (т. II. СПб., 1902) сделана весьма нерешительная попытка вскрыть истоки загадочного выражения: «*Кузька* — плут (*показать Кузькину мать*, т. е. чем и как (мать) учит плутов(?)». Но эти соображения не могут быть приняты во внимание в силу их безосновательности. Столь же неубедительно видеть в составе выражения *показать кузькину мать* отражение нигде не засвидетельствованного слова *кузька* «кнул» только на основании параллельного до какой-то степени синонимического выражения *показать кнут* (*плеть*), «погрозить».

Гораздо более перспективными оказываются поиски этимологического решения на почве других языков, где обнаруживаются проясняющие первоначальную образность и логику русской идио-

мы. Такую роль может выполнить коми-зырянское и коми-пермяцкое существительное *кузь*, *кузьб* «черт, лепший», встречающееся в выражениях типа *кбн тэб кузьясис новлбдбны* «где тебя черти носят». Первоначальным у этого слова было другое значение, которое хорошо сохранилось в близкородственном коми-зырянскому удмуртском языке, где его соответствие имеет облик *кузб* и значит «хозяин», а также в заимствованиях из коми-зырянского языка: манс. *кусай* «хозяин», хант. *kužá* «хозяин». В пермских языках (коми-зырянском и удмуртском) слово это когда-то имело общепермскую форму \**kuz'a*, которая представляет собой старое болгарско-чувакское заимствование (совр. чувашск. *хуса* «хозяин, владелец»). Изменение значения у коми-зырянского слова легко объясняется его эвфемистическим употреблением вместо табуированного названия «лесного хозяина» — лешего.

Из того же самого болгарско-чувашского источника слово *хуса* (диалектн. *хоца*) попало и в другие финно-угорские языки Поволжья: горномарийск. *хбза* «хозяин», лугововосточн. марийск. *оза*, морд. *козя* «богач, кулак». К нему восходит и русск. *хозяин* с наращенным суффиксом единственного числа *-ин* и суффиксом *-ева* для образования множественного числа (*хозяева*). Основа русского слова *хозяин*-, по-видимому, восходит к тюркской звательной форме *хосай* (из *хоца+ай*), но дело не в русском слове, а лишь в соотносительном с ним *кузьмой*, от которого пошла *кузькина мать*.

Думается, что обращение к отражению болгарско-чувашского слова *хуса* в финно-угорских языках Поволжья и Северного Приуралья помогает вскрыть истоки и первоначальную семантику русского фразеологизма *показать кузькину мать*.

Возможное знакомство с матерью лешего, черта действительно «открывает» неприятную перспективу, и намек на такое потенциальное знакомство представлял довольно действенную угрозу.

ЗА ЗНАКОМОЙ СТРОКОЙ



«Пасичник Рудый Панько»

В. Я. Звиняцковский,  
кандидат филологических наук

„Еще мало народу, всякого звания и сброду,  
вымарало пальцы в чернилах! Дернула же охота  
и пасичника потащиться вслед за другими!

*Вечера на хуторе близ Диканьки. Повести,  
изданные пасичником Рудым Паньком*

Издатель-«собираатель»

Еще девяносто лет тому назад профессор Новороссийского университета в Одессе Алексей Иванович Маркевич напомнил об одном обычае, существующем на Полтавщине: «...если у какого-либо Афанасия, или по-малорусски Панаса, есть сыновья, то по отчеству они будут зваться Панасовичи...», — писал А. И. Маркевич, — а дети их, если отец их или дед не имели какого-либо специального прозвища, будут иметь заменяющее фамилию прозвище Панасенка, а сокращенно — Панька... Что сокращение слова Панасенко в Панько возможно, я могу представить ряд известных мне подобных же сокращений в малорусских именах» (Изв. Отд. рус. яз. и словесности Имп. Акад. наук, 1898, т. III, кн. 4, с. 1270).

Поскольку деда Гоголя звали Афанасием, «Гоголь именно был таким Паньком» (там же), и при этом *рудым*, что по-украински значит — рыжим: как известно, волосы Гоголя, особенно в молодости, имели рыжеватый оттенок. «Что же касается до про»

звания внуков именем деда, — добавляет А. И. Маркевич, — это столь обычное в Малороссии явление, что оно не нуждается в доказательствах. Приведу в пример хотя бы самого себя, тоже уроженца Полтавщины. Меня и моих братьев наши же крестьяне, конечно, хорошо знавшие нашу фамилию, тем не менее заочно всегда называли Петренками и Петриченками, так как деда моего звали Петром. Ввиду этого и я иногда свои публицистические грехи, авторство которых хотел почему-либо скрыть до поры до времени, подписывал псевдонимом О. (т. е. Олексій) Петриченко» (там же, с. 1271). И далее ученый поясняет, что обычай давать прозвища и образовывать фамилии таким способом существовал не только на Украине, но и в России, «а в древности применялся даже у самых знатнейших родов». Петр I, путешествуя за границей «инкогнито», называл себя дворянином Петром Михайловым (по имени деда), а не Алексеевым (по имени отца), «и правильно: Петром Михайловым он и был бы, если бы не принадлежал к царскому роду» (там же, с. 1272).

Будь Николай Васильевич Гоголь-Яновский не писателем-дворянином, а мужиком-пасечником, то по прозвищу (по-украински *прізвище* — фамилия) быть бы ему *Паньком*. Рудый Панько — псевдоним писателя, искусно использованный им для придания композиционного единства сборнику повестей, что совершенно справедливо сказано в примечаниях к академическому изданию сочинений Н. В. Гоголя.

Псевдоним, образованный по типу прозвища (*прізвища*), то есть с учетом реальных обстоятельств жизни автора, рода и местности, из которых он происходит, — характерное явление литературы гоголевской эпохи. Рудый Панько с хутора близ Диканьки в этом смысле сродни Грыцьку Основьяненко (так подписывался писатель Григорий Квитка — по названию предместья Харькова, Основе). Наконец, не забудем, что в то время, когда 22-летний Гоголь трудился над «приданием композиционного единства» «Вечерам...», А. С. Пушкин обсуждал со своим другом и издателем П. А. Плетневым все нюансы появления на свет «покойного Ивана Петровича Белкина». И хотя пушкинские «Повести...» появились в печати позже первой книжки «Вечеров...» Гоголя, косвенное влияние можно допустить, ибо советчиком молодого писателя был не кто иной, как Плетнев.

Между тем сравнение с Белкиным как раз и обнаруживает своеобразие личности повествователя в ранних произведениях Гоголя, точнее — отсутствие в них «маски» вроде той, за которой скрывается повествователь у Пушкина. Ведь рассказчик в «Выстреле» или «Станционном смотрителе» — это важное дейст-

в у ю щ е е лицо повестей, причем именно Иван Петрович Белкин, а не подполковник И. Л. П. или титулярный советник А. Г. Н., от которых якобы были услышаны Белкиным эти повести. «Находился я в мелком чине...» — это именно Белкин находился в мелком чине, а не А. Г. Н., который так в мелком чине титулярного советника и остался. В «Повестях Белкина» нет вообще ни одной строчки, какая не могла бы принадлежать Белкину, кроме, разумеется, самого предисловия «от издателя». «Издатель» скрылся под криптонимом «А. П.», уже и для первых читателей повестей весьма прозрачным: в 1831 году Александр Пушкин — общепризнанный первый поэт России!

Ничего подобного нельзя сказать о Рудом Паньке — ведь он и есть «издатель» (в подзаголовке сказано ясно: «Повести, изданные пасичником Рудым Паньком»). Рудый Панько — псевдоним «издателя», подлинное имя которого в то время не было известно никому, кроме Плетнева. В отличие от Белкина, Рудый Панько действительно издает как бы чужие повести — панича в гороховом кафтане («Сорочинская ярмарка», «Майская ночь») и дьячка Фомы Григорьевича («Вечер накануне Ивана Купала» и «Пропавшая грамота»). Самому же Паньку в первой книжке повестей принадлежит лишь «Предисловие» да еще небольшое вступление к «Вечеру накануне Ивана Купала», которого не было в журнальной редакции этой повести.

Перечитайте обе книжки «Вечеров», и вы увидите и услышите целую толпу рассказчиков. Но эти рассказчики неравноценны: тут и городской «панич», и дьячок-грамотей, и слепой украинский певец-кобзарь, поведавший о причинах всех причин в «Страшной мести»...

Сам же Рудый Панько ничего не сочиняет и ничего не рассказывает. Он всего лишь издатель, который способствует выходу в свет соборной, коллективной точки зрения земляков-украинцев на мир, на жизнь и смерть человека, на подлинные и мнимые ценности бытия. Именно об этом повести Панька-Гоголя, именно в этом смысле они национальны и народны. Понять их по-настоящему — это и значит понять позицию «издателя» и смысл «издания».

Итак, Гоголь-Панько — не рассказчик, а только комментатор, следящий за тем, чтобы верно была передана и понята читателем коллективная мысль. Личностная позиция, как и вообще проблема самовыражения, для Гоголя-Панька не существует. Систему словесного выражения личностной позиции создавал Пушкин в «Повестях Белкина». Рудый Панько — фигура иного плана. Если он и литературный брат Белкина, то не родной,

а двоюродный: тот рожден именно литературной традицией, этот — фольклорной.

Прояснив для себя вопрос о личности «пасичника Рудого Панька», попытаемся заглянуть в глубь еще одной загадки, скрытой Н. В. Гоголем в названии его книги.

### *На хуторе близ Диканьки*

Название «Вечера на хуторе близ Диканьки» имеет свою историю. Ко времени выхода в свет «Вечеров» читатели были уже знакомы с другими произведениями на украинскую тему, в частности «Двойником, или Моими вечерами в Малороссии» Антония Погорельского. Гоголь, избегая повтора, находит свое, более конкретное название места событий — хутор близ Диканьки, что отчетливо проясняло географию происходящего. Но почему именно Диканька становится в произведении Гоголя метафорой Украины?

Очевидно, *Диканька* благодаря родству со словом *дикий* легко воспринимается как имя нетронутого самобытного края, где только и были возможны описываемые события.

Существовали, однако, не только поэтические, но и весьма прозаические обстоятельства, под влиянием которых юный Гоголь принужден был допустить сей топоним в свой фантастический мир.

На эти обстоятельства намекал анонимный автор первой более или менее подробной биографической статьи о Гоголе, вышедшей всего через несколько месяцев после смерти писателя — в апрельской книжке «Отечественных записок» за 1852 год. Впоследствии выяснилось, что автором статьи был земляк Гоголя, молодой талантливый украинский писатель Пантелеймон Кулиш, вынужденный соблюдать анонимность из-за «политической неблагонадежности» (за пять лет до этого он был арестован и судим как один из участников киевского Кирилло-Мефодиевского братства, деятельным членом которого был также и Тарас Шевченко). Кулиш уже с середины 1840-х годов был вхож в круг гоголевских друзей, Плетнева и Аксаковых, и стал первым биографом Гоголя.

В статье «Несколько черт для биографии Н. В. Гоголя» П. Кулиш так пишет о его отце — украинском писателе Василии Афанасьевиче Гоголе-Яновском: «Он обладал даром рассказывать занимательно о чем бы ему ни вздумалось, и приправлял свои рассказы врожденным малороссийским комизмом. <...> Ва-

сильевка его сделалась центром общественности всего околотка. Гостеприимство, ум, красноречивая говорливость и редкий ко-мизм хозяина привлекали туда всех близких и далеких соседей. Тут-то бывали настоящие „вечера на хуторе“, которые Гоголь поместил по особенному обстоятельству возле Диканьки...»

О том, что это было за «особенное обстоятельство», Кулиш говорит в рассказе о составлении первой книжки «Вечеров». К маю 1831 года «у него уже готово было несколько повестей, составлявших первый том „Вечеров на хуторе блиа Диканьки“. Не зная, как распорядиться с этими повестями, Гоголь обратился за советом к П. А. Плетневу. Г[осподин] Плетнев ~~хотел~~ оградить юношу от влияния литературных партий и в то же время спасти повести от предубеждения людей, которые знали Гоголя лично или по первым его опытам и не получили о нем высокого понятия. Поэтому он присоветовал Гоголю, на первый раз, строжайшее инкогнито и придумал для его повестей заглавие, которое бы возбудило в публике любопытство. Так появились на свет „Повести, изданные пасичником Рудым Паньком“, который буд-то бы жил возле Диканьки, принадлежавшей князю Кочубею.

Можно смело ручаться за достоверность воспоминания Плетнева в передаче Кулиша, ибо нет никаких сомнений в том, что прежде чем статья была передава в печать, ее просмотрел сам Плетнев. Уже с 1845 года, как об этом можно судить из одного письма Плетнева за этот год, они с Кулишом давали читать друг другу все, что писали, и в особенности о Гоголе: «Кулиш прочитал ... всю мою критику на „Мертвые души“, — писал Плетнев. — Это почти вся моя эстетика. Я стараюсь всю свою теорию передать Кулишу, чтобы у нас не было разногласицы...»

Так о каком же «особом обстоятельстве» напомнил Плетнев Гоголю в 1831 году, когда советовал вынести именно Диканьку на титульный лист книги, а Кулиш — читателям «Отечественных записок» в 1852 году, когда рассказывал о совете Плетнева, обосновывая его «спасительную» роль в деле издания первой книжки «Вечеров...»? Оно прямо указано в тексте статьи Кулиша: принадлежность Диканьки князю Кочубею. Заметим: не «князьям Кочубеям», как правильнее было бы сказать в 1852 году, а тому самому, первому в роду Кочубеев князю, который хотя и умер в 1834, но и в 1852 многим еще был памятен...

Из дневника А. С. Пушкина (июль 1834): «Тому недели две получено здесь известие о смерти кн. Кочубея (он умер по дороге из Петербурга в Диканьку 2 июля. — В. 3.). Оно произвело сильное действие; государь был неутешен. Новые министры повесили голову. Казалось, смерть такого ничтожного человека не

должна была сделать никакого переворота в течении дел. Но такова бедность России в государственных людях, что и Кочубей нечем заменить... Без него Совет иногда превращался только что не в драку, так что принуждены были посылать за ним большим, чтоб его присутствием усмирить волнение. Дело в том, что он был человек хорошо воспитанный, — и это у нас редкость, и за то спасибо. О Кочубее сказано:

Под камнем сим лежит граф Виктор Кочубей.  
Что в жизни доброго он сделал для людей,  
Не знаю, черт меня убей.

Согласен; но эпиграмму припишут мне, и правительство опять на меня надуется.

Обратим внимание на то, что в эпиграмме Кочубей назван графом: петербургский высший свет (а эпиграмма, вне всякого сомнения, происходит именно отсюда) так и не признал жалованный Николаем I Кочубею княжеский титул. Повторялась история более чем тридцатилетней давности с пожалованием титула князя Павлом I родному дяде Кочубея — канцлеру А. А. Безбородко (Гоголь, между прочим, учился в Нежинской гимназии его имени), которую молва упорно связывала с предательской ролью Безбородко по отношению к Екатерине II, доверившей ему завещание с назначением на престол не сына Павла, а внука Александра. Как писал А. М. Тургенев, «по кончине ея (Екатерины. — В. З.), гнусный Безбородко обнаружил всю подлость и коварство свойств, соврожденных малороссам: он не Сенату, а Павлу, наследнику Екатерины, предъявил завещание», за что, по мнению современников, и был произведен в князья («Русский архив», 1877, кн. I, с. 45—46).

Подобное недовольство родовитых русских семейств приближением к престолу «малороссов» и их ролью при дворе вполне разделял и Пушкин, который в стихотворении «Моя родословная», написанном в 1830 году, особо настаивал на том, что дед его «в князья не прыгал из хохлов». И появившись такое стихотворение годом позже — у правительства были бы весьма веские причины «надуться» на поэта: в 1831 году получил титул князя председатель Государственного Совета В. П. Кочубей.

Но ведь именно в этом, 1831-м, году Гоголь решил на издание первой книжки «Вечеров», и именно тогда опытный в таких делах Плетнев присоветовал юному автору избрать столь своеобразный способ «спасти повести от предубеждения» и «от влияния литературных партий», укрыв их под маскою «пасичника», который будто бы жил возле Диканьки, принадлежавшей

князю Кочубею! Бесспорно, во всяком случае, что если не сам Кочубей, то одно его имя способствовало «улучшению участи» начинающего писателя. А уверенность Рудого Панька в том, что о Диканьке (где «дом почище какого-нибудь пасичникова куреня, а про сад и говорить нечего») его читатели наслушались вдоволь, — вовсе не наивна, ибо в 1831 году не было более модной, более благонамеренной темы, нежели богатство новоиспеченного князя (тут и пушкинское, сказанное о предке, — «богат и славен Кочубей» — тоже пригодилось). Только и разговоров было об образцовых нововведениях в его имении (впоследствии кочкаревские «учреждения» в «Мертвых душах», как вспоминал М. С. Щенкин, Гоголь прямо списал с кочубеевских в Диканьке), его «истинно княжеской приверженности родовому гнезду...»

Именно такой, вовсе не символический, а вполне реальный и целиком современный подтекст заглавия книги Рудого Панька должны были почувствовать ее первые читатели. Ну, а для самого автора книги и Диканька, и причудливое имя Рудого Панька имели и личное, и даже вполне символическое значение, связанное с некоторыми легендами, преданиями, обычаями и суевериями семейства Гоголей-Яновских.

Рядом с дворцом соседа Кочубея в Диканьке незатейливый домишко в гоголевской родовой Васильевке-Яновщине — что «пасичников курень». Васильевка, расположенная в двадцати пяти верстах от Диканьки, и есть тот «хутор близ» нее, где не один вечер пришлось провести нашему писателю под сенью вековых дубов, слушая рассказы стариков-пасечников.

*Киев*

# НЕ — приставка или частица?

И. И. Степанченко,  
кандидат филологических наук

Вначале проверим свою интуицию. Как бы вы написали такое очень простое предложение: *Эта речка (не) глубокая?*

Вы правы: можно и слитно, и раздельно. Только смысл в разных случаях будет различным. Когда мы пишем *речка неглубокая*, то хотим сказать, что речка мелкая. При помощи приставки *не-* образуется слово с противоположным значением: *неглубокая — мелкая*.

А предложение *Эта речка не глубокая* означает, что глубина речки нам точно не известна, мы знаем только, что признак *глубокая* эту речку не характеризует. Она может быть и мелкая, и средней глубины, но и не глубокая. Частица *не* зачеркивает, отрицает этот признак.

Как же писать правильно? Все зависит от того, что мы хотим сказать, какой смысл выразить. А если подходят оба варианта, то и писать можно по-разному.

Значит, приставка *не-* и частица *не* выполняют в предложении различную работу, у них различные функции: приставка *не-* выполняет функцию образования слова с противоположным значением (*неглубокая = мелкая*), а частица *не* — функцию отрицания (*не глубокая*).

Если в предложении отсутствует противопоставление, то в конструкциях с отрицанием, как правило, одного определенного значения нет. В этом случае противопоставление как бы подразумевается: *шаг у него не быстрый* (а медленный или средний). Ср.: *шаг у него небystрый* (=медленный).

Таким образом, если слово с *не* приобретает прямо противоположное значение, его можно заменить синонимом (*недруг — враг, невысокий — низкий, неумно — глупо*), *не* в этом случае — приставка и пишется слитно. Если *не* служит для отрицания, то есть подразумевается конструкция противопоставления (*не друг, а враг; не высокий, а низкий; не умно, а глупо*), в таких предложениях *не* — частица и пишется раздельно.

Так разграничиваются приставка *не-* и частица *не* при отсут-

ствии зависимых слов у существительных, прилагательных, наречий на -о и причастий. Если же есть зависимые слова, то они помогают различать слитное и раздельное написание.

Обратимся к примерам: *отнюдь не друг, вовсе не хороший, далеко не красивый, нисколько не занимательный; почти неразработывавшаяся теория, в высшей степени неорганизованный отряд, говорить очень незаинтересованно; не замеченное ранее явление.*

Итак, слова *отнюдь, далеко, вовсе, нисколько* (первые четыре примера) определяют раздельное написание *не* с прилагательными, существительными и наречиями на -о.

При зависимых словах, являющихся обстоятельствами меры или степени (*почти, очень, в высшей степени* и т. п.), *не* выполняет функцию образования слова с противоположным значением и, являясь приставкой, пишется слитно со всеми рассматриваемыми частями речи, в том числе и с причастиями (следующие три примера).

Наконец, *не* с причастиями пишется раздельно, если есть зависимые слова (*ранее*), не относящиеся к обстоятельствам меры и степени (последний пример).

Значит, если есть зависимые слова, нужно знать, к какой части речи относится слово с *не* и к какой группе принадлежит зависимое слово.

Заметим, что на написание *не* с прилагательными, существительными, наречиями на -о влияют только отмеченные обстоятельства меры и степени, а также слова *отнюдь, далеко, вовсе* и слова с приставкой *ни*. Остальные зависимые слова в этом случае не учитываются. Рассуждать нужно так же, как если бы зависимых слов вообще не было. Например, *незаметная в темноте яма*: *заметная* — прилагательное, зависимое слово *в темноте* не относится к обстоятельствам меры и степени, не входит в группу слов *отнюдь, далеко, вовсе, ни ... и*, следовательно, на написание *не* не влияет. Возможна замена синонимом без *не* (например, *скрытая в темноте яма*), поэтому *не* пишется слитно.

Орфограмма, которую мы рассматриваем, одна из самых трудных в русской орфографии, поэтому правил много и они довольно сложны. Чтобы легче было в них ориентироваться и быстрее выработался навык правильного написания *не*, оформим сделанные выводы в виде схемы, которой нужно следовать, ничего не пропуская.

Начиная анализ, прежде всего определите, употребляется ли слово без *не*. Конечно, в словах типа *небрежно, негодующий, нелепость, невзрачный* и т. п. *не* только приставка, т. к. признак,

который мог бы отрицаться частицей, отдельным словом *не* выражается — слов *брежно, годующий, лепость, врачный не*,

## СХЕМА

1. Употребляется ли слово без *не*?

да

нет

2. Есть ли при слове с *не* зависимые слова?

слитно

да

нет

3. К какой части речи относится слово с *не*?3. Возможна ли замена синонимом без *не*?сущ., нареч. на -о,  
прилагат.

причастия

да

нет

4. Есть ли при слове с *не* слова *отнюдь, далеко, вовсе* или слова с *ни-*?

## 4. Есть ли зависимые слова, не относящиеся к обстоятельствам меры и степени?

## 4. Есть ли (или подразумевается) противопоставление?

да

нет

да

нет

да

нет

раздельно

раздельно

слитно

раздельно  
слитно

## 5. Есть ли зависимые слова — обстоятельства меры и степени?

да

нет

слитно

зависим.  
слова не  
влияют на  
написание

Приведем пример рассуждения по схеме. Роман «Что делать?» — не ученый трактат в лицах с нравоучительными разговорами. Без *не* слово употребляется (*ученый*), зависимых слов нет, замена синонимом невозможна, подразумевается противопоставление (а художественное произведение). Следовательно *не* — частица, пишется раздельно.

Теперь рассмотрим примеры посложнее. *Не нарушаемая в природе тишина. Независимое от произношения написание.* Без *не* слова употребляются. Есть зависимые слова. А вот определить часть речи в данном случае трудно. Что перед нами — причастие или прилагательное?

Или такие примеры: *Несдержанный в выражении чувств человек. Не подготовленная к набору рукопись*. Слитное или раздельное написание вновь зависит от частей речи. Как их определить? На помощь приходит еще одна схема.

### Прилагательное или причастие?

1. Какой суффикс имеет анализируемое слово?

↓  
-ом-  
-ем-  
-им-

↓  
-т-  
-н-[-нн-]

2. Образовано ли слово от переходного глагола несовершенного вида?

↓  
да      нет

↓  
страдательное  
причастие на-  
стоящего вре-  
мени

↓  
прилага-  
тельное

2. Управляет ли слово существительным в творительном падеже?

↓  
да      нет

↓  
страдательное  
причастие про-  
шедшего времени

↓  
прилага-  
тельное

Искл.: *невидимый* (прилагат.)  
*несравнимый* (причастие)

Вернемся в нашим примерам.

*Нарушаемая* ← *нарушать* — переходный глагол, т. к. управляет существительным в винительном падеже без предлога (*нарушать — что?*), несовершенного вида. Следовательно, *нарушаемая* — причастие.

*Зависимая* ← *зависеть* — глагол совершенного вида, следовательно, *зависимая* — прилагательное.

*Несдержанный* — существительным в творительном падеже не управляет (нельзя сказать *несдержанный* [кем-то] *в выражении чувств*), следовательно, *несдержанный* — прилагательное. Ср.: *не подготовленная* (кем-то) *к набору рукопись* — причастие.

Зная части речи, воспользуемся первой схемой.

*Не нарушаемая в природе тишина* — без *не* слово употребляется, есть зависимые слова, причастие, зависимое слово не из группы обстоятельств меры и степени, значит *не* — частица, пишем раздельно.

*Независимое от произношения написание* — без *не* слово употребляется, есть зависимые слова, прилагательное, зависимые слова не относятся ни к обстоятельствам меры и степени, ни к *отнюдь, далеко, вовсе, ни...* и на написание *не* не влияют. Рассуждаем так же, как если бы зависимых слов не было. Возмож-

на замена (хотя и не очень точная) синонимом *оторванное*: *не* — приставка, пишем слитно.

*Несдержанный в выражении чувства* — без *не* употребляется, есть зависимые слова, прилагательное, зависимые слова не относятся ни к обстоятельствам меры и степени, ни к группе *отнюдь, далеко, вовсе, ни...* и на написание *не* не влияют. Синонимом слово заменить трудно, но противопоставления нет, следовательно, *не* — приставка, пишем слитно.

*Не подготовленная к набору рукопись* — без *не* слово употребляется, есть зависимые слова, причастие, зависимые слова не относятся к обстоятельствам меры и степени: *не* — частица, пишем раздельно.

Если как следует потренироваться и усвоить эту схему, то нетрудно научиться слитно и раздельно писать *не* с прилагательными, существительными, наречиями на *-о* и причастиями. А как быть с другими частями речи?

С глаголами (за исключением случаев с приставкой *недо-*: *недосыпать, недоедать*), краткими причастиями, деепричастиями, наречиями (не на *-о*) *не* пишется раздельно: *не заметить, не выучены, не глядя, не завтра*. С краткими прилагательными *не* пишется так же, как и с полными: *вовсе не занимательна*. С неопределенными и отрицательными местоимениями *не* пишется слитно при отсутствии предлога: *некто, некуда, но не к кому*.

Теперь обязательно откройте школьный учебник или какое-нибудь другое пособие по орфографии и потренируйтесь в разграничении приставки *не-* и частицы *не*, пользуясь схемой.

#### ЧИТАТЕЛЬ СПРАШИВАЕТ

«Я читала ввучке книжку Л. П. Васильевой-Гангнус «Азбука вежливости». В этой сказке одно и то же прилагательное напечатано по-разному: Алеша стал *взаправдашным* драконом; протягивали мне *взаправдашную* волшебную палочку; растет *взаправдашний* драконий хвост; Игогоня сделался живым-*взаправдашным*; сотни *взаправдашных* волшебников. Как правильно нужно писать это слово и, соответственно, произносить?»

Е. В. Уланова, Коломна

Словари русского литературного языка приводят только один вариант: *взаправдашний*. Слово это просторечное, литературный синоним этого понятия — *подлинный, настоящий*.



## Л. В. Рахманин. СТИЛИСТИКА ДЕЛОВОЙ РЕЧИ И РЕДАКТИРОВАНИЕ СЛУЖЕБНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Каждому из нас приходится иметь дело с официальными документами — на работе и во всевозможных житейских ситуациях. Между тем язык и стиль служебных документов настолько специфичен, что требует навыков в их подготовке на основе особенностей грамматики деловой письменной речи.

Принято считать, что документы не пишутся, а составляются. Почему сложилось такое представление? Дело в том, что любой официальный документ — будь то акт о списании негодного инвентаря или доверенность на вожделение автомобилем, справка с места работы или заявление — обусловлен конкретной социальной, производственной, общественной ситуацией с ее нормами тех или иных правоотношений. Поэтому язык и стиль служебных документов предельно унифицирован: синтаксис, речевые обороты, словарный состав и терминология. И при составлении деловых бумаг не нужно изыскивать какие-то индивидуальные формы выражения действий, намерений, решений; их нужно знать.

Особенно трудно при подготовке документов бывает начинающим организаторам производства, работникам служб управления делами, канцелярий, архивных подразделений. Документоведы, делопроизводители, юристы, инженеры-электронщики давно выработали определенные требования к языку служебных документов. К сожалению, явно недостает лингвистических пособий по правилам их подготовки, и прежде всего, для молодых специалистов. Восполняет этот пробел вышедшая третьим изданием в 1988 году книга Л. В. Рахманина «Стилистика деловой речи и редактирование служебных документов» в издательстве «Высшая школа». Пособие составлено в соответствии с программой «Стилистика деловой речи и редактирование служебных документов для средних специальных учебных заведений».

Книга Л. В. Рахманина состоит из «Введения» и двух частей. Во «Введении» определены понятия «документ», «служебный документ», «унификация» применительно к лингвистическим задачам, говорится о редактировании, пер-

мализации, стандартизации служебных документов. В первой, теоретической, части — «Стилизация деловой речи» — рассматривается понятие «многозначность слова» и комментируются виды речевых ошибок, связанных с незнанием значения слова. Здесь сообщается, как следует использовать специальную лексику, устаревшие и новые слова, заимствования, а также слова в значениях, не закрепленных традицией книжных стилей; показаны особые случаи лексической несочетаемости и др. Тематика этого раздела во многом нова для учащихся, особенно для тех, кто имеет лингвистическую подготовку в объеме восьми классов общеобразовательной школы.

В следующем разделе этой части комментируются трудности в употреблении имен существительных, связанных с категорией рода, одушевленности — неодушевленности, категории числа. Точно так же даны рекомендации по другим частям речи — глаголу, местоимению, прилагательным и т. д. При этом обращено внимание на самые распространенные морфологические ошибки в стиле современной официально-деловой письменной речи.

Рассматривая синтаксические средства языка, автор показал правила употребления синонимов, антонимов, предло-

гов при однородных членах предложения, союзов и союзных слов, некоторых видов дополнений и обстоятельств, а также причины ошибок в предложениях с обобщающими словами, в управлении при синонимах и т. д.

Во второй части — «Редактирование служебных документов» — содержатся изложение основ редактирования и упражнения по составлению и правке документов. Неоспоримым достоинством учебного пособия является то обстоятельство, что оно написано с учетом специфики сложившейся практики. В нем приведен богатый иллюстративный материал, даны упражнения, образцы документов — акты, заявления, характеристики, приказы, протоколы, начиная с формуляров-образцов и кончая сложными текстами. Использовались также материалы прессы, отражающие нужды народного хозяйства. Хотя книга Л. В. Рахманина — учебное пособие для средних специальных учебных заведений, ею может пользоваться самый широкий круг читателей — инженеры, работники отделов кадров, документоведы и делопроизводители.

*П. В. Веселов,*  
*кандидат филологических наук,*  
*Н. В. Овчинникова,*  
*кандидат филологических наук*



## Звучащее слово Древней Руси

Под таким названием в издательстве «Советская Россия» (серия «Искусство звучащего слова». М., 1988) вышел в свет небольшой сборник статей и древнерусских текстов, предназначенных для инсценирования. В число избранных текстов вошли произведения, наиболее известные и значительные в русской литературе XI–XV веков: «Слово о полку Игореве», «Слово о погибели Русской земли» и «Задонщина». Выбор самых поэтичных древнерусских памятников письменности не случаен: зна-

комство с ними значительно расширит кругозор читателя.

Основную часть книги составляют статьи педагога и режиссера Ю. Н. Малышевой — преподавателя Московского государственного института культуры. Будучи руководителем экспериментальной художественно-исследовательской группы «Слово», популярного в Москве студенческого коллектива, Ю. Н. Малышева заинтересовала своих студентов идеей инсценировки названных произведений. В своих статьях она рассказывает о работе над

их сценическим воплощением. Первоначально группа обратилась к тексту «Слова о полку Игореве». Сравнивая текст памятника с его переводами, студенты пришли к выводу, что «Слово о полку Игореве», как и другие древнерусские произведения, необходимо читать в подлиннике, а не в переводе, даже самом хорошем. Работа над постановкой, рассказывает Ю. Н. Малышева, учит обращать внимание не только и не столько на внешние моменты (костюмы, цветовое решение), сколько на внутреннюю структуру самого произведения, понимание его каждым из участников. Гениальные памятники древнерусской литературы должны зазвучать со сцены в полный голос и открыть для слушателя прекрасный духовный мир человека — вот цель, которой стремилась достичь Ю. Н. Малышева как режиссер. Приведенные в книге отзывы

зрителей свидетельствуют о полном успехе постановки.

Предлагаемая вниманию читателей книга знакомит не только с интересной работой творческой группы «Слово», но и помогает каждому выработать более внимательное и требовательное отношение к собственной речи, к слову. «Ребята стали обращать внимание на слова современной речи, вслушивались в звуки, задумывались над изменениями значения слов с течением времени» — пишет Ю. Н. Малышева.

Сборник «Звучащее слово Древней Руси», безусловно, найдет своего заинтересованного читателя, перед которым откроется прекрасный мир родного древнерусского языка и зазвучит мелодия древнерусской певучей речи.

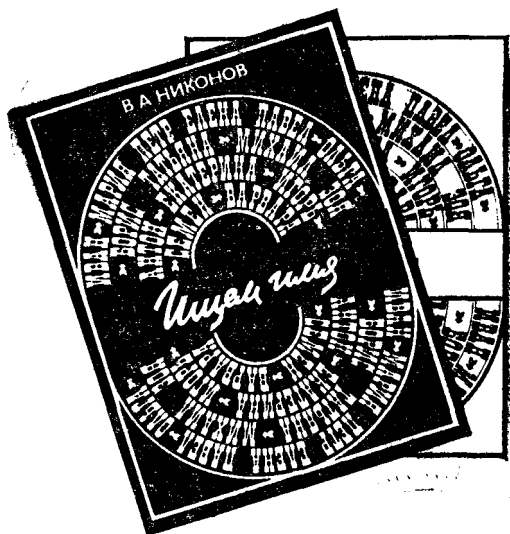
Е. И. Державина,  
кандидат филологических наук

#### ЧИТАТЕЛЬ СПРАШИВАЕТ

«Объясните, пожалуйста, что значит слово *лапидарный*?»

С. Зубов, Сычевка, Смоленской обл.

Слово *лапидарный* происходит от латинского *lapidarius* — «резчик по камню». Оно употребляется в выражении *лапидарный слог* (или *стиль*) и обозначает слог или стиль, кратко, но четко и ясно выражающий мысли. Первоначально так назывался лаконичный и выразительный слог, свойственный надписям на древнеримских памятниках.



Продолжаем публикацию заметок о русских именах из книги В. А. Никонова «Ищем имя».

### Женские имена

**ГАЛИНА.** Древнегреческое — «спокойная, тихая». У русских оставалось малоизвестным вплоть до начала XX века, когда только и стало распространяться. В 20-е годы заняло второе место по частоте даже в деревне, где разделяло его с именем *Валентина*. Но позже пошло на убыль, хотя оно звучно, просто и нет ни малейших причин его браковать. Сегодня в сельских местностях Галиной называют 21 из 1000 девочек, в городах — вдвое реже.

**ДАРЬЯ.** От персидского мужского имени *Дарий* — «богач». К русским принесено христианством из Византии. С течением времени стало именем в основном крестьянок, после чего привилегированные слои населения предпочли его избегать. Среди 100 тысяч новорожденных в 1961 году не оказалось ни одной *Дарьи* даже в деревне. В самые последние годы, при тяге к старине, *Дарью* воскресили преимущественно в городах; в сельских местностях пока лишь единичные случаи.

**ДИНА.** Новое имя, совсем недавнее, по встреченное во многих местах (Москва, Вологодская, Орловская области и др.) — всюду в семьях интеллигенции. По-видимому, ошибочно принята за полное имя краткая форма каких-то иноязычных имен (*Диана, Дионисия, Динальдина*). В качестве официального имени нельзя признать удачным.

**ЕВГЕНИЯ.** Женская форма от мужского имени *Евгений*. К русским принесено христианством из Византии. Имя нередкое, особенно в городах. Но тождественность с мужским сдерживает его распространение.

**ЕЛИЗАВЕТА.** Древнееврейское *элисабет* — «бога моего клятва». К русским принесено христианством из Византии, но в употребление вошло гораздо позже. В народном произношении — *Лизавета*. Форма *Олисава* встречается на Севере во многих сказаниях и былинах. Царствование Елизаветы, дочери Петра I, несколько прибавило популярности этому имени, главным образом, в правящем сословии: во второй половине XVIII века его давали в среднем 88 из 1000 новорожденных дворянок, примерно 4 — крестьянкам. Имя было широко распространено в Западной Европе, нашло отражение в истории и художественной литературе. Часты немецкая производная форма — *Эльза*, французская — *Лизетта*, английская — *Бэтси*. Реже южнославянская форма — *Бетка*. У русских частота имени была и осталась ограниченной.

**ЗИНАИДА.** Древнегреческое — «потомок Зевса». К русским принесено христианством из Византии. Частым никогда не было. Теперь тоже редко.

**ЗОЯ.** Древнегреческое *зоэ* — «жизнь». К русским принесено христианством из Византии. Никогда не было частым. В начале нашего столетия нашло некоторое признание в городах. Высоко поднялся престиж имени после подвига Зои Космодемьянской, совершенного в Подмоскovie осенью 1941 года. К. М. Симонов справедливо сказал тогда: «Зоя — значит для нас бесстрашие».

**КСЕНИЯ.** Первоначальное значение спорно: древнегреческое «гостеприимная» или «чужеземка». К русским принесено христианством из Византии. Никогда не было частым. Но в самые последние годы наблюдается приверженность к украинской форме — *Оксана*, связь которой с *Ксенией* совсем не воспринимают. Для русских теперь это два совершенно разных имени. Имя *Ксения* дают почти только в городах.

**ЛАДА.** Древнерусское — «любимая», но до нас дошли производные от этого слова — *ладить*, *ладный*. Отсутствие в святцах исключало возможность сделать его личным именем. Новые попытки ввести его в обиход можно приветствовать — имя звучно, просто, превосходно по значению.

**ЛАРИСА.** Древнегреческое имя. Предположительно два его источника: название города на севере Греции и менее вероятно от *ларис* — «чайка». К русским принесено христианством из Византии, но давно утратило всякую связь с церковью. Частота употребления его падает без каких-либо оснований: имя звучно, просто, лишено отрицательных черт. В Москве его получают 8 девочки из 1000 новорожденных, в других городах — 7, в сельских местностях — 10.

## Мужские имена

**ВИКТОР.** Древнеримское имя (латинское *виктор* — «победитель»). К русским принесено христианством из Византии, но оставалось малоупотребительным. В нашем столетии стало чаще, потом снова пошло на убыль. Теперь его частота у нас все же значительна (от 12 до 19 на 1000 новорожденных мальчиков).

**ВИТАЛИЙ.** Древнеримское имя (латинское *вигалис* — «жизненный»). К русским принесено христианством из Византии. Частым никогда не было, но сейчас его получают 13–15 из 1000 новорожденных мальчиков.

**ВСЕВОЛОД.** Составное славянское имя — «владеющий всем». В святцы попало как имя псковского князя XII века, объявленного «святým». При этом в святцы вошло не христианское имя *Гавриил*, которое он принял при крещении, а языческое! Позже оно оставалось княжеским, но редким. Несколько чаще употребляли его в начале нашего столетия. Теперь его дают единично и лишь в городах.

**ВЯЧЕСЛАВ.** Старославянское имя (*вяче* — «больше» и *слава*). К русским пришло от чехов в X веке, занесено в святцы в память чешского князя Вячеслава, убитого братом — противником его контактов с киевским князем. У русских частым не было. Редко и теперь.

**ГЕННАДИЙ.** Древнегреческое *геннадос* — «благородный». К русским принесено христианством из Византии. Частым не было. Теперь в городах его дают лишь единично, в сельских местностях — несколько чаще.

**ГЕОРГИЙ.** Древнегреческое *георгиос* — «земледелец». Каноническим имя стало в честь Георгия Победоносца; к русским принесено христианством. (Католическая церковь, пересмотрев недавно свои святцы, исключила из них Георгия Победоносца, так как все связанное с ним оказалось нагромождением фантастических нелепиц.) В странах Европы имя приняло разный облик: французское *Жорж*, английское *Джордж*, немецкое *Георге*, испанское и португальское *Йорге*, венгерское *Дьордь*, чешское *Иржи*, польское *Ежи* и т. д. У русских каноническая форма имени никем вне церкви принята не была. Князья-варяги (скандинавы) употребляли это имя в форме *Юрги*, которая на почве русского языка превратилась в *Юрия*, а народ, перевернув непривычное сочетание *рг*, переделал имя в *Егор*. Теперь у русских три самостоятельных имени, не связанных между собой. Есть семьи, где один брат *Георгий*, другой — *Юрий*. Для старших же поколений такое положение чревато многими осложнениями. Например, пожилой человек по церковной записи — *Георгий*, по справке о членстве в колхозе — *Егор*, а по свидетельству об образовании — *Юрий*... Сегодня имя *Георгий* в сельских местностях редко, чаще всего регистрируется в Москве.

**ГЕРМАН.** Древнеримское имя (*герминус* — «германец»). К русским принесено христианством из Византии. Частым не стало. Его еще иногда дают в городах.

**ГЛЕБ.** Имя скандинавское (предположительно — древнегерманское *готлиб*). В святцы вписан князь Глеб, сын Владимира I, объявленный «святым» после того, как был убит. Характерно, что в святцы вошло не христианское имя — Давид, а языческое. Сегодня оно редко, вне городов вообще не встречается,

**ГРИГОРИЙ.** Древнегреческое *грегориос* — «бодрствующий, пробужденный». К русским принесено христианством из Византии. Было очень частым. В наше время его получают в среднем двое из 1000 новорожденных мальчиков.

**ЕГОР (См. ГЕОРГИЙ).** На протяжении тысячелетия преобладала народная русская форма канонического имени Георгий.

Лишь церковь и аристократическая верхушка придерживались церковной формы. Сегодня *Егор* — это самостоятельное имя; употребляется вдвое чаще в Москве, чем в сельских местностях.

## ЧИТАТЕЛЬ СПРАШИВАЕТ

«Я живу в Опочке. У нас здесь говорят и пишут прилагательное от названия города и *опочковский*, и *опочецкий*, и даже *опоцкий*. А как правильно?»

Н. Ф. Жердин, Опочка

В Словаре прилагательных от географических названий, составленном Е. А. Левашовым (М., «Русский язык», 1986), можно найти ответ на Ваш вопрос: *опоцкий* — это устарелый вариант; в современном языке употребляются варианты *опочецкий* и *опочковский*. Например: «Вечером того же дня я приехал в просторный и тихий городок Опочку... Я остановился в опочецкой гостинице». (К. Паустовский. Беглые встречи); «Выстрелы на Сенатской площади не всколыхнули Россию. В опочецкой глуши все так же стояла непо потревоженная тишина». (Вс. Воеводин. Повесть о Пушкине); «Надзор этот [над Пушкиным] был поручен Пещурову, тогдашнему предводителю дворянства Опочковского уезда». (И. Пущин. Записки о Пушкине). Как видим из примеров, предпочтение в современном языке отдается прилагательному *опочецкий*; *опочковский* — устаревающее слово.



Сегодня на вопросы читателей отвечает старший научный сотрудник Словарного отдела Ленинградского отделения Института языкознания Академии наук СССР, кандидат филологических наук В. Н. Сергеев.

## СПИД или спид?

Москвич Г. Кулижников пишет: «Полагаю, что название заболевания *СПИД* давно уже пора писать, как и аббревиатуры вуз, нэп, не прописными, заглавными, буквами, а строчными: *спид*. В английском языке есть, правда, слово *speed*, означающее «скорость», от которого в русский язык вошли слова *спидометр*, *спидвей*, но омонимы во всех языках явление обыденное, закономерное. Можно быть уверенным, что в недалеком будущем появятся производные от „спид“ по аналогии, скажем, с „грипп“: *противоспидозная, противоспидная профилактика и терапия, противоспидозные, противоспидные средства, спидозная инфекция* и т. д.»

Аббревиатуру СПИД, сравнительно недавно образованную из начальных букв терминологического словосочетания «синдром приобретенного иммунодефицита», сейчас знают все. Она дополнила ряд медицинских сокращенных слов, таких, как ОРЗ — острое респираторное заболевание, ВТЭК — врачебно-трудовая экспертная комиссия, СПК — станция переливания крови, ДНК — дезоксирибонуклеиновая кислота и многих других.

Следует сказать, что до появления ее в русском языке уже были известны два слова *спид*. Одно — английское по происхождению — употреблялось в конно-спортивном лексиконе, где означало «скорость». «В начале века, — пишет Б. Алмазов в книге «Прощайте и здравствуйте, кони!» — это слово можно было услышать только на ипподроме. Спид — это скорость, с которой бежит классный рысак». Второе слово *СПИД* — аббревиатура, обозначающая систему технологического процесса (станок — приспособление — инструмент — деталь) и включено в «Словарь

сокращений русского языка под ред. Д. И. Алексеева, изданный в 1983 году.

Эти слова не получили особой распространенности из-за своего специального употребления, за исключением слов типа *спидометр*, *спидвей*, где английское *спид* (скорость) вошло в состав сложных слов. Иное дело СПИД — название болезни! Оно сразу же перешагнуло узкие рамки медицинского термина и одновременно появилось на страницах периодики, книг, зазвучало по радио и с телеэкрана. Его действительно сейчас знают все. И тем не менее новая аббревиатура СПИД еще осваивается русским языком. Она употребляется то в склоняемой, то в несклоняемой формах: *«Если раньше казалось, что удастся быстро получить вакцину против СПИДа, то на конференции четко определился пессимизм по этому поводу»* (Известия. 1987. 16 июня); *«В австрийской столице завершился первый международный конгресс неправительственных организаций, изучающих проблемы СПИД и методы противодействия этому заболеванию»* (Труд. 1989. 5 марта); *«Интересно заразиться СПИДом в парикмахерском кресле»* (Лит. газ. 1989. 22 марта).

Аббревиатура СПИД оканчивается на согласный и напоминает по форме существительные мужского рода типа «дом», «стол» и др. Опорное слово терминологического словосочетания, на базе которого создана аббревиатура, — синдром — является существительным мужского рода. По нормам современного русского языка, слово СПИД должно склоняться по типу слов «дом» и «стол». Что касается того, как писать аббревиатуру — строчными или прописными буквами, — то в данный момент прописные буквы, очевидно, играют роль особого сигнала: во-первых, свидетельствуют о том, что перед нами аббревиатура; во-вторых, что перед нами новое слово, которым к тому же названа опасная болезнь.

За сравнительно короткое время название СПИД стало очень известным, хотя далеко не все могут назвать слова, на основе которых оно образовано. Совсем недавно, кстати, в периодической печати появилось производное слово от этой аббревиатуры: *«20 марта в Ленинграде передан органам здравоохранения противоспидный лекарственный препарат „Ретровир“, полученный из-за рубежа»* (Известия, 1989. 23 марта). Как видите, *спид* в этом прилагательном написано строчными буквами.

Возможно, что со временем, когда этот термин полностью будет освоен русским языком, он станет писаться строчными буквами так же, как пишутся многие другие болезни: грипп, корь, коклюш, холера, проказа, чума и т. п.

## Загадка гала-концерта

С конца 70-х годов XX века на страницах газет и журналов появились два необычных слова: *гала-спектакль* и *гала-концерт*. Вот несколько примеров: «Представители других коллективов не ввали президент на обед, а пожарники и машинисты парижской Оперы сорвали ему гала-спектакль: они забастовали именно в тот день, когда он пригласил на представление именитых гостей» (Новый мир, 1978, № 5); «Некоторые считали, что в гала-концерт надо взять по три песни, ставшие лидерами в каждом выпуске» (Советская культура. 1989. 26 янв.). Если слова *спектакль* и *концерт* всем понятны, то *гала* остается для многих загадкой. О нем спрашивают С. И. Толкачева из Куйбышева, В. Губенко из Киева, семья Полищук из Комсомольска-на-Амуре.

В толковых словарях русского языка, где можно узнать значения слов, его нет. То, что *гала* иностранного происхождения, сомнению не подлежит. Еще в 50-е годы «Словарь иностранных слов» под редакцией И. В. Лехина и Ф. Н. Петрова показывает его французское происхождение (*gala*), правильное ударение (*гала́*) и объясняет значение. Оказывается, этим словом в XVII–XVIII веках называли торжественный придворный праздник, а в наше время, отмечает словарь, в соединении с существительным (*гала-концерт* и т. п.), обозначает особенно торжественное зрелище. Это объяснение повторяют, в основном, все последующие издания «Словаря иностранных слов».

В современном русском языке *гала* употребляется только в составе сложных слов, их первой части. В специальном справочнике «Новое в русской лексике. Словарные материалы-78» (М., 1981) первым из таких слов был зарегистрирован *гала-спектакль*. Авторы справочника дали ему такое объяснение: «Торжественное исполнение пьесы, оперы и т. п.» В дальнейшем оно помещается в Банк русских неологизмов (Сб. «Новые слова и словари новых слов» Л., 1983). На слово же *гала* обращают внимание авторы словаря-справочника «Слитно или раздельно?», потому что, естественно, могут явиться трудности: как написать его в составе сложного слова? Справочник рекомендует писать *гала* только через дефис: *гала-концерт*, *гала-обозрение*, *гала-представление*.

У читателя, конечно, возникнет вопрос: а зачем современному русскому языку иностранное слово *гала*? Ведь раньше-то мы прекрасно обходились прилагательными *торжественный*, *праздничный*. Когда нужно, говорили праздничный спектакль, праздничный концерт, праздничное представление, торжественный концерт. И все-таки, оказывается, *гала* в составе сложных слов вносит определенное дополнительное значение. *Гала-концерты*, *гала-представления* — это театрализованные представления с большим числом исполнителей, как правило, звезд эстрады, театра. Это представления с использованием световых, звуковых и других эффектов, обязательно проходящие на больших сценах, аренах, стадионах.

Вот тот нюанс значения, который дал возможность прижиться новому слову.

---

ЧИТАТЕЛЬ СПРАШИВАЕТ

---

«Объясните, пожалуйста, что значит слово *анналы*».

И. Степанова, г. Калуга

*Анна́лы* (от латинского *annales* годовые) — запись исторических событий по годам у древних римлян, египтян, персов и других народов; другими словами — летопись.

Например: «*И вот — парусиновые туфли ещё живы, а эпохи уже нет — прошла, легла в анналы*» (М. Рощин. Южная ветка).

«Хотелось бы знать происхождение слова *лауреат*».

В. Т. Сиротин, Астрахань

Слово *лауреат* заимствовано из латинского языка, где *laureatus* означало «увенчанный лаврами».

---

# ИГРОТЕКА



## «В игре слова»

Эту небольшую книжку нам не удалось купить: тираж, говорят, разошелся в несколько дней. Наверное, не посчастливится в букинистическом: такие книги туда не несут. Выручила библиотека. Она, конечно, поможет всем, кто захочет с этой книгой познакомиться поближе. Не лишним будет предусмотрительный совет, данный в предисловии, — ради сохранности книги пользоваться ею, положив на страницы прозрачную бумагу.

«Что за ценность?» — удивитесь, наверное, вы.

А просто на ста четырех страницах идет обещанная обложкой игра в слова — игра в рисунках с заданиями, способная увлечь и больших, и маленьких, — великолепная тренировка сообразительности, внимания, умения мыслить логически.

Надо признаться, что сто четыре страницы про игру — это сто четыре страницы про любовь. Автор веселого сборника Юрий Закиевич Никитин влюблен в словесные игры с самого детства. Увлечение осталось на всю жизнь и — наверняка — сыграло важную роль в ней! Дело в том, что стал Ю. З. Никитин журналистом и автором двенадцати книг.

«В игре слова» — двенадцатая. Она похожа на диалог: сначала автор рассказывает о каждой игре, у которой, будь то анаграмма или логогриф, шарада или палиндромон, свои капризы и секреты, а потом читатель сам решает словесные задачи. Не получается — автор поможет, подскажет, но все-таки предупредит: не торопитесь заглядывать в ответы! Познайте радость игры — от простого к сложному, от загадки к разгадке...

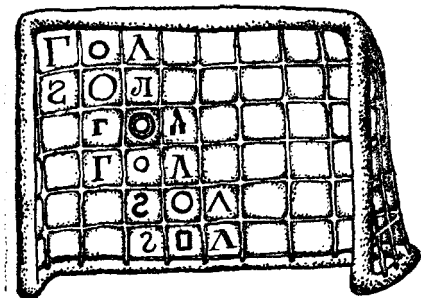
Вот несколько игр из этой книги. Попробуйте свои силы.

## Какие птицы и животные?

|        |        |
|--------|--------|
| колос  | банка  |
| кордон | бурсак |
| поров  | рысак  |
| пудель | скала  |
| стай   | шкала  |

Посмотрите внимательно на эти слова и скажите, какие названия птиц записаны слева и животных — справа?

## Чей счет больше?



В сетку этих футбольных ворот можно «забить» шесть мячей: вписать по горизонтали шесть слов, содержащих «гол». Сколько «голов» сможете «забить» вы?

## Необычная книга



В каждом слове замените последнюю букву другой и получите новое слово (имя существительное в единственном числе). Если вы успешно справитесь с этой задачей, то по вновь вписанным буквам прочтете слова великого русского критика В. Г. Белинского.

## К сведению авторов

Рукописи, направляемые в журнал, должны быть напечатаны на машинке через два интервала в двух экземплярах и подписаны автором.

После подписи указываются сведения об авторе: фамилия, имя, отчество (полностью), место работы, занимаемая должность, ученая степень, домашний адрес и телефон.

Объем статьи не должен превышать 8–10 страниц машинописи. Все цитаты должны быть тщательно выверены автором по источникам; ссылки даются в тексте, с указанием выходных данных (название, место, год издания, страница).

*На вопросы читателей отвечала сотрудница Института русского языка АН СССР кандидат филологических наук Л. Н. Кузнецова ©*

*Номер оформили художники: Н. Беланов, С. Жагин, В. Захаров, В. Леонов, А. Сычев, Ж. Яковлева. ©*

## РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

В. П. ВОМПЕРСКИЙ (главный редактор), Л. К. ГРАУДИНА, В. П. ГРЕБЕНЮК, В. П. ГРИГОРЬЕВ, А. Ф. ЖУРАВЛЕВ, Ю. Н. КАРАУЛОВ, Л. М. ЛЕОНОВ, Л. Ю. МАКСИМОВ, И. Г. МИЛОСЛАВСКИЙ, Л. А. НОВИКОВ (зам. главного редактора), Н. А. РЕВЕНСКАЯ (зам. главного редактора), Н. И. ТОЛСТОЙ, В. Ю. ТРОИЦКИЙ, А. П. ЧУДАКОВ, Е. Н. ШИРЯЕВ, Д. Н. ШМЕЛЕВ

Заведующая редакцией

Т. С. Колмакова

Художественный редактор

В. А. Леонов

Корректоры

В. В. Беляев, М. В. Рыбина

Сдано в набор 18.10.89

Подписано к печати 05.12.89.

Формат бумаги 84×108/32

Бумага типографская № 2.

Печать высокая. Усл. печ. л. 8,4.

Усл. кр.-отт. 426,2 тыс.

Уч.-изд. л. 9,8. Бум. л. 2,5.

Тираж 49500.

Заказ 3547. Цена 50 к.

---

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Наука».

Адрес редакции: 121019, Москва, Г-19, Волхонка, 18/2. Телефон: 202-65-25.  
2-я типография издательства «Наука»,  
121099. Москва, Г-99, Шубинский пер., 6

---